

Евгений Салиас-де-Турнемир

# Петровские дни



Евгений Салиас де Турнемир  
**Петровские дни**

«Public Domain»

1903

## **Салиас де Турнемир Е. А.**

Петровские дни / Е. А. Салиас де Турнемир — «Public Domain», 1903

«...Царица, окружённая сонмом вельмож и правительственных сановников, стояла в ожидании надвигающейся бури – одна-одинёшенька. Новая императрица с минуты вступления на престол думала только об одном, трепетно и нетерпеливо ждала только одного, чаяла спасенья себя и отечества и умиротворения всех и всего только в одном: священном короновании в Московском Кремле. <...> Пребывание теперь в селе Петровском перед торжественным въездом в первопрестольную было будто тяжёлым испытанием её сил перед началом великого тридцатипятилетнего подвига: приведения Руси от мглистых времён елизаветинских к лучезарным дням alexандровским...»

# Содержание

Часть первая	5
I	5
II	6
III	8
IV	11
V	13
VI	16
VII	18
VIII	20
IX	22
X	25
XI	29
XII	33
XIII	36
XIV	38
XV	41
XVI	44
XVII	47
Конец ознакомительного фрагмента.	49

# Евгений Андреевич Салиас

## Петровские дни

### *Историческая повесть*

#### Часть первая

#### I

Были первые дни сентября 1762 года...

Москва ликовала и шумела и вся была на ногах. Пришли такие дни, что она могла сказать: «На нашей улице праздник!»

Государыня императрица Екатерина Алексеевна прибыла из Петербурга и остановилась в селе Петровском, имении гетмана графа Разумовского, в двенадцати верстах от Москвы. И первопрестольная ожидала дней въезда новой императрицы и коронавания.

Много ходило тёмных и лживых слухов о том, как встретит Москва царицу.

– Москва – не Петербург!.. Сердце России не солжёт, не покривит душой. Низвержение с престола законного государя Петра Феодоровича, внука Великого первого императора российского, она, первопрестольная, судит по-своему. Ей чёрного белым не сделаешь, кривду правдой не нарядишь, злоумышления в благодеяние не обернёшь. Питер Москве не указ. Он младший брат. Братишка! Ему шестьдесят лет – смешно сказать. А Москве-то сколько? Поди-ка сочти.

Но эдак рассуждали в дворянских семьях, а москвич-простолюдин знал или же просто почуял, что царица хотя и немецкая принцесса, но давно стала душой и сердцем истинной россиянкой. В первом же своём деянии, июньском перевороте и вступлении на престол, она спасла отечество от немецких порядков, предотвратила новую бироновщину и гонения не только всего русского, но и самой православной веры.

Но время было всё-таки трудное. Дни шли смутные. Государственный мир и общественный покой были нарушены. Всё всколыхнулось, заволновалось. По старой пословице «мирская молва – морская волна», море житейское зашумело и погнало волны на берега и устои политические и гражданские.

И не являлось никого, кто бы проявился утешителем волнения... Царица, окружённая сонмом вельмож и правительственных сановников, стояла в ожидании надвигающейся бури – одна-одинёшенька.

Новая императрица с минуты вступления на престол думала только об одном, трепетно и нетерпеливо ждала только одного, чаяла спасенья себя и отечества и умиротворения всех и всего только в одном: священном коронавании в Московском Кремле.

А до этого великого мгновения она могла только по праву повторять французскую поговорку «Dieu me garde de mes amis, des ennemis je me garderai moi-meme».

– Да. Спаси Бог от друзей, а от врагов я сама уберегусь, – думала и говорила умная, смелая, но смущённая женщина-монарх.

Пребывание теперь в селе Петровском пред торжественным въездом в первопрестольную было будто тяжёлым испытанием её сил пред началом великого тридцатипятилетнего подвига: приведения Руси от мглистых времён елизаветинских к лучезарным дням alexандровским.

## II

Старуха-крестьянка стояла среди гряд огорода на опушке леса и смотрела, как закатывалось золотое солнце за край земли.

С опушки этого небольшого леса, не густого, не запущенного, а, напротив, со следами заботливого ухода, видно было ровное пустое поле, расходившееся во все стороны. Только вправо и далеко на самом горизонте темнелась полоса, узкая и длинная... Там снова начинался лес, но уже настоящий, с непролазной гущиной, с вековыми деревьями, где водилось всякое зверьё – и заяц, и лисица, и волк. А старожилы ближайшего села Петровского уверяли, что в юности своей видали в нём и медведя...

Совсем влево за полем, тоже на самом горизонте, виднелись несколько домиков и церковь. Это был самый край Москвы, которая отсюда была невидима, укрытая чащей деревьев и кустов. На этой опушке, где начиналось поле, был небольшой огород. Десятки длинных гряд шли рядами одна за другой, будто волна за волной зелёного моря.

Среди этих гряд бродила крестьянка, изредка нагибаясь, шаря рукой в зелени и собирая в фартук всякую огородную всячину... И только изредка отрывалась она от дела – передохнуть и поглядеть, как солнышко уходит с неба на покой «до завтра».

В те минуты, когда крестьянка, наполнив фартук, снова остановилась и стояла, чтобы отдышаться от труда, непосильного в её года, на опушке показалась женская фигура, продвигавшаяся медленными, усталыми шагами... Это была среднего роста, полная и красивая женщина, по виду и по одежде городская барыня... Постояв и поглядев на поле, на огород, где работали крестьянки, она хотела уже снова удалиться, когда вдруг заметила небольшую скамью. Простая доска была прибита концами к пню и к столбику. Дама будто обрадовалась этой случайной, неожиданной находке и, двинувшись бодрее, с видимым удовольствием села на скамейку.

Снова начала она озиаться кругом на всё, что было видно отсюда, и взор её красивых светлых глаз остановился на колокольне церкви, окружённой несколькими домиками.

«Какое это село? – подумалось ей, и затем она тотчас спохватилась и мысленно охнула: – Да это Москва! Да, это она... Край, конец её, врезавшийся в поле... Там, вероятно, застава. Но не Тверская, а другая. Да. Вот она... Вот «ты», от которой всё зависит. Всё! Ты, Москва, от которой надо ждать решения участи новой императрицы. Что ты скажешь ей, то же повторит и вся Россия!.. А что ты скажешь? Что?»

И дама глубоко задумалась, поникнув головой и забыв окружающее.

– Что невесела – голову повесила? – вдруг раздался странный по своему звуку голос, глухой, хрипловатый, шамкающий...

Дама, будто разбуженная им от своей думы, невольно вздрогнула... Голос был за её спиной... Она обернулась и увидела совсем старую старуху. Ей невольно стало жутко. Она, казалось ей, только слыхивала или читала в сказках про таких старушенций... В таком образе являются колдуньи, коварные и злые, приносящие людям несчастье. Но в таком же виде в сказках являются, однако, и добрые феи, принимая умышленно отвратительный образ крайней дряхлости.

– Что тебе, старушка? – вымолвила дама, отчасти робко от какого-то суеверного чувства, вдруг возникшего в ней.

– Сказываю тебе: что невесела, голову повесила? – повторила старуха, шамкая беззубым и совсем провалившимся ртом.

– Ничего... Я так... задумалась!.. – смелее ответила дама, сразу заметив во взгляде старухи нечто противоречившее всей её фигуре. Глаза её, большие и круглые, были совсем свет-

лые, чуть не белые, выцветшие от старости, но добрые, ласковые... За хрипотой с едва внятыми словами слышалась та же простодушная ласковость.

Однако фигурой своей старуха была действительно диковиной, странным существом, нечасто встречающимся.

Очень высокая ростом, она была несоразмерно тоща и худа... Её спина изогнулась дугой, голова с длинной шеи поникла вперёд и от многих годов, и от необходимости за всю долгую жизнь смотреть на людей с высоты своего долговязого тела... Седые волосы с сильной желтизной, наполовину белые и наполовину золотые, выбивались из-под повязанного и сбившегося чёрного платка... Лицо, маленькое, всё изрытое морщинами, казалось ещё мельче от большого длинного носа крючком, который, выпятившись и висая, чуть не упирался в острый и длинный подбородок. Казалось, что именно нос и подбородок, сойдясь вместе, мешали шевелиться глубоко ввалившимся губам. И всё это старое существо будто не походило уже на человека. Сгорбленная спина, пригнутая голова над совсем впалой грудью, изогнувшийся вниз длинный нос, всё вместе удивительно уподобляло её какому-то диковинному двигающемуся крючку.

### III

Постояв молча и разглядев как следует сидящую, она вдруг протянула длинную руку, положила её на голову дамы и костлявыми пальцами погладила её по волосам.

Но, видно, белые глаза этого существа сказали что-нибудь в эту минуту, потому что дама не оробела, даже не удивилась, а, весело улыбнувшись, вымолвила:

– Сколько тебе лет, старушка?

– Много, сударка... У-ух, много. Тебе не посчитать.

– Семьдесят, восемьдесят?..

– Бона... – усмехнулась старуха, и её нос, казалось, ткнулся в подбородок. – Поболее сотни... Годов-то...

– Ну? Уж это ты прибавила, старушка.

– Зачем... Я бы рада отбавить.

– Всё-таки поменьше ста лет.

– По сущей по правде, сударка, сама не знаю. А люди вот сказывают, умные люди. Считают и сказывают, что сотню годов отжила и вторую начала...

– Да как же они считают, моя милая?

– Как? А вот как! Была я девка-невеста, когда цари-то жили ещё в Москве, а не у моря, на краю света, где нехристь одна селится. Был царь Хфёдор московский царь. Да. А теперича пошли императрицы, потому что императоров боле нету. А почему всё такое – знаю я, родимая моя. Был вон один и всего полгода процарствовал, и теперь опять императрица. А потому царей-то больше нет, что они Москву нашу матушку бросили, не хотят в ней жить. А вот что... Я с тобой присяду... Ноги у меня чтой-то слабеть стали.

– Садись! Садись! – живо выговорила дама, как бы спохватясь.

– Тебя-то стыд не возьмёт? С бабой да мужичкой сидеть.

– Полно... Садись... Скажи, как тебя зовут.

– Параскевой.

– Прасковьей?

– Нет. Зачем Прасковьей... Параскева я. Параскева Пятница. Муж, когда серчал, завсегда просто Пятницей звал. Ей-Богу. Кричит, бывало: дура ты, Пятница.

– И ты будто царя Феодора помнишь?

– Помню. Видала его, голубчика, будучи в девках ещё.

– Ты царя Петра Алексеевича, верно, помнишь, а не Феодора.

– Зачем? То Пётр. А то Хфёдор. Я не дура какая, сударка моя. Он вот помер, а меня замуж выдали. Бунты тогда на Москве каки были. Страсть! Бунтовали стрельцы и Матвеева боярина, знатного и доброго боярина, умертвили, окаянные... Мимо меня протащили тело его искрошенное.

– Как мимо тебя?

– Да. Я на площади с мужем была... Затесалась с глупых бабьих глаз. И вот, гляди... В тот самый день угораздило мне... Вишь, проруха.

Она нагнулась и показала на щеке большой рубец.

– Стрелец копьём задел... Пьян был, как и все они... Я выть, а он говорит: «Ничего, девка! До свадьбы заживёт!» А муж мой ему: «Кака она девка. Она моя жена!» Ну, стало, вот и не зажило. И дети были, и внуки были, и правнуки есть... А дыра-то всё видна.

И старуха заболтала о правнуках и о своих делах. Дама слушала сначала, но вскоре задумалась под её однообразный говор и незаметно для себя самой понурилась, сидя на скамье.

Старая Параскева, смолкнув, поглядела на неё и снова положила ей руку на голову.

– Эй, касатуха. Опять нос повесила. Эй, скажи, чего невесела?



Дама вздрогнула, пришла в себя, вздохнула и вдруг выговорила:

– Ах, старушка... Есть отчего...

– Горе какое?

– Горе не горе. А заботы... Большие.

– Да что? Говори. Я тебе твоё дело, мне чужое, руками разведу. Недаром сто лет живу...

Дама улыбнулась.

– К своему я делу вот ума не приложу! – вздохнула старуха. – А твоё – пустяковое. Верь мне. Говорю тебе... Плюну, дуну... И всё на ветер улетит. Говори. Вороги, что ли, у тебя... Обижают?

– Да.

– А заступы нет.

Дама не поняла.

– Заступиться некому?

– Некому.

– Совсем некому... Другов нет?

– Нет.

– Одна ты, стало, как перст? Бона! Замужняя, чай? Муж заболел? Бьёт?

– Нет. Я вдова.

– Вдовая! Ну, так! Вдова от всех терпи. Я тоже натерпелась. А ты поясни, какое дело-то, за что тебя обижают.

– Не обижают. А уж очень все... Всякий-то своё...

Дама будто колебалась мгновенье и вдруг вымолвила:

– Много народу... И всякий-то своё просит. Всякому угодить надо...

– Заедают?

– Да. Уж именно так, как ты говоришь.

– А ты удовольствоваться их не можешь?

– Нельзя, старушка. Нельзя. Много хотят.

– Та-ак! Это всегда. Вдовье дело. Ну и злобствуют, грозятся.

– Да.

Старуха подумала и выговорила таинственно, как бы нечто крайне важное:

– Обещай, матушка.

– Что?

– Обещай, говорю

– Я не понимаю тебя, старушка.

– Обещай каждому, всем. Обещай и откладывай. Вот и перестанут злиться и грозиться.

Говори: изволь, мол... Всё что прикажете... А когда? Скоро! А как скоро? Да вот как только можно будет. Смекнула?

И старуха, говоря, прищурила один глаз, будто подмигивая.

Дама долго смотрела ей в лицо, как бы соображая, и начала вдруг добродушно смеяться.

– Чему, молода-зелена? Не веришь?

– Нет, верю, старушка... Верю. Мне смешно не то. Так обещать, по-твоему? Обещать и обещать!.. А когда? Вот скоро. Когда можно будет...

– Во! Во!.. – таинственно шепнула Параскева.

Дама снова начала смеяться.

Между тем солнце давно исчезло за горизонтом и начало темнеть... Звёзды зажигались на ясном небе.

– Мне пора домой, – сказала вдруг дама.

– А тебе далече домой-то? Приехала небось из города погулять к нам.

– Нет. Я здесь живу.

- Здесь? Где ж это здесь?
  - Здесь.
  - Слышу, касатка. Да говорю тебе, где же здесь жить? У нас тут домов барских нет.
  - А вот этот, – показала дама на лес.
  - Там же палаты графские.
  - Я в них и живу.
  - В палатах?!
  - Да.
  - Бона как! Как же ты туда попала? Там теперь царица. Приехала на коронавание.
  - Да. Я... У царицы есть такие... Ну, при ней дамы придворные... И я...
  - При царице? – произнесла, как бы ахнула Параскева.
  - Нет! – быстро ответила дама. – Я не при царице. Я приятельница дамы придворной, которая меня с собой привезла из Петербурга. Я при ней и живу теперь.
  - Царицу-то выдаешь всё-таки?
  - Видаю.
  - Видаешь? – многозначительно, но робко переспросила старуха, как бы смутясь.
  - Видаю. Редко.
  - Редко? – как бы с облегчением повторила Параскева. – Но всё-таки ин выдаешь... Бона как! А я с тобой болты болтала. Думала, ты барынька из города. У нас бывают такие-то. Приезжают погулять по полю, по лесу... Сказывают, в городе скучно. Да. Вона что! А ты царицу выдаешь. Ну, не осуди, золотая моя. Я ведь не знала.
  - Что же такое, старушка, не беда. Я рада была с тобой поговорить. Ты умная... Ты мне совет хороший дала, – рассмеялась дама и прибавила, вставая: – Ну, прощай.
  - Прости, золотая моя, – кланяясь, ответила Параскева. – Я ведь не знала.
  - В другой раз приду сюда. Опять встретимся и опять поговорим, – ласково улыбнулась дама.
  - Как изволишь. Я что же... Рада служить.
- Дама встала, улыбаясь, кивнула головой и тихо двинулась. Вскоре она исчезла за стволами деревьев.
- Параскева долго глядела ей вслед и, наконец потеряв из виду, пробурчала себе под нос:
- Вона что! На каку наскочила!
- Дама вышла из леса и, пройдя лужайку, вошла в большой двор, в глубине которого высился красивый дом. Солдаты, стоявшие у крыльца на часах, при её появлении вытянулись и взяли на караул, отдавая честь.

## IV

В то же время Параскева тихой, но твёрдой походкой вернулась домой в свою избу на самом краю села Петровского, вдалеке от ряда крестьянских изб.

Молодой малый, лет двадцати пяти, сидевший на крылечке, завидя её, быстро поднялся и юркнул в избу. Старуха тотчас смекнула, что это значило.

– Ах, разбойник, – проворчала она добродушно. – Робята! Думают перехитрить. А где же человеку, коему на свете двадцать минуло годов, перехитрить того, кому сто лет!

Старуха вошла в избу Среди первой горницы стоял, как бы в ожидании, тот же молодец, а рядом красивая девушка, лет восемнадцати. Это были правнуки старухи.

– Ну что, разбойники? Сказывайтесь.

Молоденькая Алёнка стояла, виновато потупившись, но улыбаясь. А её брат Тит смотрел в глаза прабабушке и отозвался смело:

– Чего тебе, бабуся?

– Чего? Говорю, сказывайтесь, разбойники.

– Нечего нам сказываться.

– Ну, ты, Алёнушка, – обернулась старуха к правнучке. – Ты у меня прямая душа. Не чета братишке-греховоднику Ты скажешься.

– Да что, бабуся? – отозвалась Алёнка, стараясь показаться удивлённой вопросом.

– Что! Вестимо, что. Что такое у вас тут приключилось? Вижу я, что вас спугнула. Вижу, что дело нечисто Ну и кайтесь, головорезы.

Наступило молчание. Алёнка всё стояла, потупившись, но на лице её не было страха.

Тит отошёл к окошку, повернулся к старухе шиной и начал что-то мурлыкать.

– Вы что же это в самом деле?! – повысила голос Параскева. – Вы так-то со мной, старой? А если я вас выгоню от себя и никогда на глаза не пушу боле? Ну? Что тогда?

– Полно, бабуся, – обернулся Тит. – И как тебе не надоест всякий-то день, почитай, одни и те же слова говорить. Выгоню да выгоню. Ведь, кажись, лет десять ты это сказываешь. Никогда ты нас не выгонишь, да и не можешь. Во-первых, этого и закон не велит, чтобы выгнать внуков на все четыре стороны. Я не пропаду, а вот Алёнке бедствовать или милостыню просить – не след. Да и ты, не видая нас, сейчас помрёшь. Тебе без нас не жить. Трёх дён ты не проживёшь без Алёнки. Соскучишься и ноги протянешь.

– Не ври, деревянная голова, – отозвалась старуха, стараясь сделать свой голос гневным. – Вы меня изводите... Я от вас помру. Верно! А без вас проживу – нельзя лучше.

– Нет, не проживёшь! – усмехнулся Тит.

– Ан тебе говорю, проживу. Ну, ты умница, – приступила старуха к правнучке. – Говори. Сказывайся, что у вас тут?

– Да ничего же, бабуся.

– Побожись.

Алёнка молчала и затрясла головой.

– То-то... Не можешь божбу на душу взять.

– Зачем ей зря по сту разов в день божиться! – вступился Тит за сестру.

– Ах, отчаянные. Чисто дерева! Ведь вижу я... Ну, ладно же, погодите, озорники. Будет вам! Я знаю, что сделаю.

Старуха, разгневавшись не на шутку, села на скамью и старалась догадаться, в чём, собственно, дело, так как она видела ясно, что застала правнуков врасплох.

– Ты бы, бабуся, пошла поглядеть на избу сотского. Посмотрела бы, что там у него приключилось. Такое, что ахти! – заговорил молодой малый.

– А что такое? – удивилась Параскева.

– Да вот поди. Увидишь, так и запрыгаешь. Хоть и не махонькая, а запрыгаешь.

– Да что такое, оголтелый?

– Поди, говорю, и увидишь.

Старуха привстала, хотела выйти из избы, но вдруг сообразила, что молодец хитрит.

– Нет, я уж лучше после пойду, – вымолвила она, лукаво ухмыляясь.

Брат с сестрой переглянулись, улыбнулись и, наконец, начали смеяться весело и добродушно.

– Ничего с бабусей не поделаешь, – выговорил Тит. – Видно, нужно каяться. А то просидит она тут до вечера, и в город опоздаем. Эй, Матюшка! Вылезай. Делать нечего! – крикнул он.

И в ту же минуту из угла, где было на гвоздях навешано платье, вынырнула взлохмаченная чёрная и кудрявая голова. И затем молодой малый, ровесник Тита, вылез из своей засады.

– Прости, Параскева Васильевна. Не гневайся, – выговорил он, кланяясь.

– Ах, разбойники! – закачала головой старуха. – Недаром я чуяла! Как пришла, смекнула, что дело нечисто. Ну что же мне теперь с вами делать? К самому графу Кириллу Григорьевичу пойду и буду жаловаться.

– Будь милостива, Параскева Васильевна. Не могу я твоего приказания уважить, не могу не бывать у вас. Что хочешь, то и делай. Хошь голову сними, а я всё-таки сюда ходить буду! – покорно проговорил молодой малый.

– Ах, разбойники, мучители мои! – закачала головой старуха.

– Послушай, бабуса! – вступился Тит. – На сей раз Матюшку прости. Он пришёл за мной. Мне место важнее открывается. В конюха. Да ещё не к простому барину, а к князю.

– Ой ли? – оживилась вдруг Параскева.

– Ей-Богу, – ответил Матюшка. – Место – прямо диво дивное. Один всего конь. И господ – один князь. А при нём дядька, хороший, добрый. У нас в доме спрашивали, нет ли молодца. Я вот про Тита сказал, поручился, как за родного. Ну вот и велели его к тому князю привести.

– Ну что же... На этот раз Бог с тобой. Спасибо, – сказала старуха. – Но ходить к нам всё-таки не ходи. Вольная крепостному...

– Ну, ну... Слышали уж сто разов, – махнул рукой Тит.

– Слышали и ещё услышите... Да. Не пара. Покуда я жива да Алёнушка при мне...

– Тоже слышали, бабуса, – снова прервал старуху правнук. – Ты про дело скажи. Если этот самый князь меня возьмёт, я назад не приду. Наведаюсь когда после. Когда отпустит. Пускай Алёнка меня проведать придёт.

– Как бы не так, – отозвалась Параскева. – Она к тебе, а ты с ней к Матюшке. Хитры больно.

– Что же тут худого, Параскева Васильевна, – заявил молодой парень. – Уж так ли, сяк ли, а быть Алёнушке моей женой. Верю я в это во как. Зато она у нас на дворе повидала бы, чего ни в жисть не увидит.

– Чего это такого? – спросила старуха небрежно.

– Всех питерских вельможных господ. Все-то в золоте... Нашего Григория Григорьевича увидела бы в его кафтане царицынском. Ноне в Москве токмо и говорю, что про господ Орловых. Они у меня первыми стали...

– Тем хуже, Матюшка. Тем хуже, дурак! – воскликнула Параскева.

– Это точно... – уныло отозвался парень, вздохнув.

## V

Старушка Прасковья Васильевна Беляева называла себя Параскева – так, как её звали все всю жизнь. Когда у неё спрашивали, почему у неё такое имя, она отвечала просто:

– А Бог его знает! Всю жисть так прозывалась.

Говоря, что ей за сто лет, она, конечно, преувеличивала, но то обстоятельство, что она была уже замужней во дни стрелецкого бунта и сама видела умерщвление боярина Матвеева, доказывало, что за девяносто лет старухе, конечно, уже было, хотя на вид ей казалось менее.

Параскева была очень умная и очень добрая старуха. Родившись в глуши Приволжской губернии, в маленькой глухой деревушке, она попала в дворню и в услужение в барский дом и до двенадцати лет была сенной девчонкой-»побегушкой», а очутившись в Москве, вышла замуж за лакея важного сановника.

Благодаря уму и известной доле хитрости она добилась того, что вместе с мужем была отпущена господами на оброк. Через десять лет, сумев скопить деньги, она вместе с тремя детьми вышла на волю. Ещё через десять лет она овдовела, но имела уже маленький домик в одном из глухих переулков Москвы и получала порядочный доход, не от дома, конечно, а от того ремесла, за которое взялась.

Ремесло это сделало её известной всей дворянской Москве. По целым дням бывали у неё посетители, приносящие ей по пяти и десяти и более копеек. Мужчин бывало меньше, женщин – больше, причём особенно много барских барынь, ключниц и нянюшек.

Раза три-четыре в неделю Параскеву звали в дома ради того же ремесла, очень выгодного с одной стороны и опасного с другой. Денег оно давало больше, чем какая-либо торговля. Зато многие косились на Параскеву и побаивались её, так как дело её было – гадать на картах, на кофейной гуще, на зёрнах и просто на воде.

Женщина согласилась сделаться ворожеей ради детей и больших средств к жизни, но в душе её вместе с тем явился разлад. Сама она, женщина от природы правдивая и прямодушная, а равно и богомольная, знала, что она живёт как бы обманом людей, да кроме того, гадая и толкуя людям об их будущей судьбе, она, пожалуй, и грешит.

«Нешто можно провидеть о том, что Господь судил? Толковать об этом, пожалуй, грех большой», – думалось ей.

Вследствие этого нравственного разлада произошло то странное явление, что Параскева, считаемая чуть ли не колдуньей, не пропускала ни одной службы в своём приходском храме, говела по четыре раза в год, а на свечи к местным образам тратила большие деньги. И ежедневно, просыпаясь и ложась спать, она, читая молитвы, прибавляла со вздохом:

– Авось Господь простит, разживусь совсем, брошу это греховодничество.

Гадая разным господам, дворянам и их прислуге, Параскеве случалось, конечно, изредка предсказывать так верно, что все бывали поражены, и молва разносила по Москве её имя. При этом, разумеется, умная и тонкая старуха пользовалась тем, что была крайне наблюдательна и сообразительна.

Прежде чем явиться гадать в каком-либо важном доме, Параскева собирала о семье всякие сведения. В этом деле ей помогали десятка полтора всяких мещанок и бедных дворянок, которые сновали из дома в дом и знали близко все дела, всю подноготную каждой дворянской семьи.

Поэтому, придя гадать в какой-нибудь дом, Параскева не только знала хорошо наличный состав всей семьи, но по большей части знала и все дела их, и все главные заботы насущные. Кроме того, благодаря своим картам женщине случалось равно устраивать и расстраивать важные дела: не только покупку или продажу имущества или имения, но и свадьбы. А за это её одаривали те, кому бывала прямая выгода.

Так прошло много лет, и однажды женщина, имея большой достаток, поделила его между сыном и дочерью, оставив себе немного. У них завелись собственные семьи. Она осталась жить одна на гроши и, тотчас же бросив своё выгодное ремесло, чувствовала себя счастливой, что перестала лукавить, обманывать людей и грешить пред Богом.

Дети её не разжились, а прожились, и кончилось тем, что когда Параскеве минуло почти восемьдесят лет и сын её и дочь умерли, внучка замужняя тоже умерла, но оставив на свете двух круглых сирот, старуха взяла поневоле правнучат к себе, и пришлось снова подумывать о заработке. Но снова взяться за гаданье в свои годы Параскева не решилась, конечно.

– Скоро умирать придётся! – решила она. – Надо свою душу спасти. Ещё неведомо, замолила ли я свой старый грех, так где же тут опять начать грешить?..

И, как женщина крайне сообразительная, Параскева придумала иное средство иметь достаток. Будучи случайно знакома с одним из любимых слуг гетмана графа Разумовского, она через этого приятеля устроилась на особый лад. Она добилась, хотя и с трудом, что в подмосковном имении Петровском получила целую десятину земли внаём, на которой завела огород.

На небольшие деньги, оставшиеся у правнуков от их матери, она выстроила просторную избу – целый домик близ самой десятины и принялась за дело, которое не было таким грешным, как прежде. И дело пошло на лад. Многие дворяне в Москве, конечно, из небогатых, стали её покупателями. И время живо промелькнуло.

Когда-то Параскева поселилась промеж села и леса с двумя маленькими детьми; теперь со старухой жили здоровый, рослый молодец Тит и хорошенькая Алёнка. Но только теперь явилась у Параскевы новая забота, преследовавшая её от зари до зари.

Алёнку полюбил славный малый из дворни господина Орлова. Алёнка тоже влюбилась в него до потери разума. А между тем согласиться на брак старуха не решалась, так как опытом жизни пришла к убеждению, что крепостное состояние самое жалкое. Добрый же и честный Матюшка, которого старуха тоже полюбила, был крепостным господина Орлова. Выдать свою внучку – вольную птицу и имеющую ещё за собой и приданое, за крепостного человека, чтобы закабалить с воли в крепость, старуха не могла.

Целую зиму толковали вместе об этом деле старушка, правнуки и Матюшка. Молодёжь уверяла, что быть крепостным никакой беды нет, если господа добрые, но старуха стояла на своём и считала этот случай в её жизни наказанием, за её прежние грехи. Мало ли молодых в Москве свободных, нужно же было внучке полюбить крепостного холопа.

И энергичная старуха упрямо стояла на своём, что не выдаст внучку за Матюшку до тех пор, пока он не получит отпускной. Тогда молодой малый через управителя своего барина Ивана Григорьевича Орлова начал переговоры, и барин соглашался отпустить на волю дворового, но не иначе как за пятьдесят рублей, что было деньгами, по выражению Параскевы, «агроматными», то есть громадными.

Ценил так барин своего молодца, потому что теперь завелись новые самовары, одни большие, другие крошечные, которые надо было уметь ставить, а Матюшка, будучи в доме «самоварником», был на это дело мастер.

Деньги эти старуха начала, однако, откладывать втихомолку, но вдруг за это лето случилось удивительное приключение, которое, поразив всю Москву, поразило особенно старуху, хотя совершенно на особый лад. Барин Орлов, будучи братом двух петербургских гвардейцев, долженствовал, по слухам, ходившим после воцарения новой императрицы, вдруг сделаться именитымбарином и стать вдвое богаче.

Параскева была поражена, правнуки её тоже; Матюшка окончательно нос повесил. Разбогатевший барин мог теперь совсем не отпустить дворового на волю или же запросить гораздо больше. Старуха сочла и это обстоятельство как бы наказанием за прежний свой грех ворожбы и гадания.

«Нужно же было именно Матюшкину барину попасть в вельможи и в богачи», – думалось старухе от зари до зари.

Эта неожиданная беда не выходила из головы Параскевы, и об этой беде именно она и хотела сказать той барыньке, которую встретила сегодня. Она сказала:

– Твоё, чужое мне, дело руками разведу, а вот к своему горю ума не приложу!

И действительно, всё, что барынька ей рассказала, казалось Параскеве самым простым и пустяковым делом сравнительно с делом Матюшки.

Теперь, вернувшись от барыньки и найдя снова Матюшку у себя в домике, Параскева должна была поневоле простить правнуков ради того, что орловский «самоварник» принёс добрую весть.

Вот уже три месяца прошло, как Тит, всегда имевший в Москве место, теперь сидел на харчах у своей прабабки без дела и без жалованья. А оно было большим подспорьем. Рассчитанный за что-то бывшими господами, он никак не мог найти новой должности, так как у всех дворян были свои крепостные в услужении и во всех домах их была куча. И наёмные редко кому были нужны.

Весть, принесённая Матюшкой, что петербургский офицер ищет конюха на большое жалованье в шесть рублей в год, а офицер этот вдобавок ещё и князь, обезоружило старуху.

– Ну, Бог тебя прости, отчаянный, – сказала она. – А всё-таки больше не ходи к нам, покуда не откупишься.

Затем старуха, не любившая откладывать дело в долгий ящик, несмотря на позднее время, тотчас спровадила правнука в Москву попытать счастья.

## VI

Поздно вечером Тит и его приятель были уже в Москве на Никитской и ужинали в людской. Молодой парень Матюшка привёл Тита ночевать к себе, то есть в дом своих господ, с тем чтобы наутро рано свести его и рекомендовать на место к князю, которого называл то Козлов, то Козюлькин, то Косляевский.

Дом господ, которым принадлежал Матюшка, был в эти дни одним из первых домов столицы. Имя Орловых почти гремело, и не только в обеих столицах, но и в глухих окраинах империи.

Все россияне знали, какое участие приняли два дворянина-офицера Григорий и Алексей Орловы в происшедшем на берегах Невы «действе» и воцарении новой императрицы Екатерины Второй.

Весь вечер, что просидел Тит в людской после ужина, он видел, как съезжались вереницей экипажи во двор и как большой дом наполнялся гостями.

– Что же? День ангела чей? – спросил он.

– Какой ангел, – отвечали холопы. – У нас эдак теперь завсегда. Все теперь к господам полезли, все ласкаются. И день-деньской, и ночью отбою нет.

Наутро рано приятели собрались по своему делу, но оказалось, что Матюшке отлучиться нельзя. Пришлось ставить самовары. И Тит только ахал, помогая приятелю. Самоваров двадцать поставили они да самоваров восемь долили и разогрели.

– Да кто же это у вас так наливается? – спросил он.

– Кто? Все! Мало ли народу! – объяснил Матюшка. – У нашего барина Ивана Григорьевича на хлебах много народа. Да молодые господа из Питера с собой навезли всяких приятелей. Да гости с зарёй уже лезут. Бывает, я и тридцать пять самоваров поставлю. Большим баринком стал наш Иван Григорьевич из-за своих питерских братьев. Да и шутка ли, когда оба при царице, а Григорий-то Григорьевич и совсем при ней первым. Датютюнтом, что ли?

– Как? Чем? – удивился Тит.

– Не знаю. Мудрёное прозвище его. Ну эдак, к примеру сказать, он при царице в денщиках состоит. А прозывается генерал датютун аль датютан.

И Тит, продолжая ставить самовары, продолжал дивиться, глядя в окно на двор и на вереницы въезжающих и уезжающих экипажей и всадников.

Двор дома Орловых на Никитской у церкви Егорья-на-Всполье бывал действительно переполнен экипажами с утра до вечера. Вся Москва сновала ежедневно у господ Орловых, рассуждая, что их вскоре придётся звать «сиятельствами», а титул второго брата, Григория Григорьевича, будет, пожалуй, и ещё повыше. И по таким причинам, о которых и говорить опасно...

Всего месяца три-четыре назад, когда в родовом доме, доставшемся от покойного отца, жил один старший, Иван Григорьевич Орлов, не бывало никого, кроме полудюжины самых близких приятелей. А некоторые сановные люди Москвы даже и не знали, есть ли такой дворянин Орлов.

Первый вельможа первопрестольной фельдмаршал граф Разумовский был и первый обыватель Москвы, который уже с полгода назад вдруг полюбопытствовал узнать: «Кто и что дворянин Орлов и не родня ли он одного петербургского офицера, цалмейстера Орлова?»

А пожелал это узнать фельдмаршал, любимец и ближайшее лицо к покойной императрице Елизавете Петровне, по причине некоторых слухов, уже дошедших к нему с берегов Невы.



И граф узнал, что у дворянина Орлова ещё четыре брата и все они в Петербурге, трое офицеры, а один ещё кадет. А известны братья только тем, что первые охотники на медведей. Народ лихой, но и кутилы из первых.

Через три месяца после расспросов Разумовского Москва вспомнила, поняла, почему вельможа любопытствовал разузнать кой-что об этих людях. Совершился переворот в пользу супруги императора Петра Феодоровича, и она из принцесс Ангальт-Цербстских была провозглашена императрицей-самодержицей. А вожаками всего переворота, совершённого двумя гвардейскими полками, были братья Орловы. И тотчас после этого Григорий Орлов был назначен генерал-адъютантом к государыне.

– Пожалуй, будет он при новой царице тем же, чем и я был при покойной, – объяснял граф Разумовский близким друзьям.

– Как можно! Бог с вами! – отзывались они в один голос. – Такие редкие случаи не повторяются. Что же Орлов? Офицерик из захудалых дворян.

– А я-то и вовсе из пастухов хохлацких! – шутил граф, всегда помнивший и говоривший прямо, кротко и скромно о своём простом происхождении.

Несмотря на особенно большой съезд гостей в этот день, Матюшка и Тит около полудня всё-таки убрались совсем и отправились по своему делу.

Князь, к которому Матюшка повёл приятеля поступать на место, жил недалеко, на Арбате, на церковном дворе, в небольшом домике, который нанимал.

Молодцы явились с заднего крыльца, нашли пожилую женщину и объяснились. Женщина велела им обождать в сенях и сказала:

– Пойду Ивану Кузьмичу скажу. Да только ему не время. Он с князьком бранится. Только сейчас начал. Стало быть, вам долго придётся ждать-то.

– Как же так? – спросил Матюшка.

– Как. Просто. Схватились. А когда Кузьмич с князем зачнут пыряться, конца нет. Бывает, целый день щиплются. Хуже вот петухов бьются.

– Дерутся! – ахнул Тит.

– Вот дурак! Нетто крепостной человек может с барином своим драться... Щиплются. Словами друг дружку шпыняют. Обождите часок. Замолчат коли на минуточку, я, пожалуй, войду и доложу. А во время битвы лезть – от обоих достанется.

Молодцы уселись на ступеньках заднего крыльца, и благодаря тишине на улице, на дворе церковном, да и во всём квартале гул голосов двух спорящих в квартире ясно доносился до них. Только слов нельзя было разобрать. Через несколько минут, когда гул замолк, женщина прошла в комнаты и не затворила за собой дверей. Молодцы явственно расслышали старческий голос, который восклицал:

– В гроб вгонишь меня. В гроб вгонишь. Увидишь в гробу – помянешь... Поплачешь, пожалеешь. Да поздно будет. Мёртвый не встанет, как ни проси.

– Не я тебя... Нет. Не я тебя... А ты вот меня, Кузьмич, на тот свет спровадишь своей канителью! – отвечал молодой голос с оттенком досады.

– Богу ответ отдашь, хоша и дитё...

– Хорошо дитё выискал. У тебя я и в сорок лет, прижив с женой ребят, всё дитёй буду.

– Вот женись, и не буду дитёй звать.

– Отвяжись, ради Создателя.

– Не отвяжусь.

Женщина вернулась, не доложив о пришедших, и захлопнула двери. И снова доносился только один гул голосов.

И только через час вышел старик, дядька князя, и, увидав молодцев, спросил. Тит ему показался пригодным, и он тотчас доложил барчуку.

## VII

Князь Александр Никитич Козельский был молодой двадцатидвухлетний офицер Измайловского полка, только что произведённый в чин из сержантов. Москвич по рождению и сирота, воспитанный тёткой, которая его боготворила, он поступил в полк и, очутившись один в Петербурге, много пережил невзгод.

Жизнь с солдатами в казарме, за неимением средств, требования службы, отсутствие женского ухода и всякого баловства угнетали молодого человека. Он считал Петербург своего рода Сибирью, а свою службу каторгой. Командир роты, в которую он был зачислен, дал ему прозвище сначала «маменькин сынок», потом «Александра Никитишна», потом «сахарная барышня» и, наконец, уже «пуганая канарейка».

Действительно, молодой малый, явившийся на службу в виде доброго, скромного юноши, воспитанного, как девочка, а не как мальчик, казался запуганным. Запугали его порядки полковые и казарменная жизнь.

На вид казалось князю не двадцать два года, а лет семнадцать. Среднего роста, сильно полный, кругленький, белый и румяный, ещё не бреющийся за неимением даже и пушка над губами – он был «пышка». Кроме того, с добрыми светло-серыми глазами, с милой полудетской улыбкой на пухлых пунцовых губах, с тихим девичьим голосом и мягкими, не мужскими движениями офицер походил на переодетую в мундир молодую девушку. Ни дать ни взять – девица-пышка.

И в полку все товарищи облюбовали больше всего второе прозвище, данное князю ротным командиром, так как оно отлично шло к нему. Заглазно он был для всех «княжна Александра Никитишна». Но вместе с тем все любили доброго и скромного молодого человека и старались смягчить его положение «запуганного» службой после домашнего житья под крылышком или под юбками обожавшей его тётушки и боготворившей его дворни. Воспитательница его, старая девица Осоргина, хотя была и небогата, но держала при себе кучу дворовых. Сделавшись из боготворимого барчука солдатом, он усердно, но тщетно старался быть воин-офицером, избегать взысканий и огорчений, но ничего не выходило, и командир окрестил его прозвищем «пуганая канарейка». Он прозвал бы юношу и вороной пуганой, но изящная внешность князя этого не допускала.

Когда прошёл слух, что коронация новой императрицы совершится безотлагательно в сентябре месяце, а два полка гвардии выступят гораздо ранее, князь Козельский обрадовался. Не было сомнения, что измайловцы пойдут на коронацию, и юный офицер надеялся повидаться с своей тёткой, которую с детства очень любил.

Однако князю пришлось выехать в Москву ещё в конце июля, и не для свидания со своей воспитательницей, а на её похороны. Старая Осоргина внезапно скончалась, а её воспитанник был вызван дядей, родным братом отца.

Приглашение явиться в Москву от этого дяди было для молодого человека двойной неожиданностью... Он плакал искренно и говорил о потере доброй старухи, заменившей ему родную мать, но вместе с тем и дивился несказанно, что его вызывает дядя, князь Александр Алексеевич Козельский.

Он этого дяди совсем не знал, даже никогда не видал с семилетнего возраста, когда дядя явился на похороны своего брата, а его отца Никиты Алексеевича.

Юный князь знал только со слов воспитательницы-тётки, что старик лет шестидесяти был «чудодей», был когда-то женат на страшной полужидовке-богачке, давно овдовел, жил в вотчине около Калуги, тратил громадные деньги на разные «чудеса» и нравом был таков, каких – весь свет пройди – второго не сыщешь!

Но в чём дядя был чудодеем и какие чудеса творил, старая девица никогда ни единым словом не обмолвилась, объясняя питомцу, что юношам эдакое знать не приличествует.

– В своё время, когда станешь мужчиной, то и многое узнаешь, что будет ещё хуже дядюшкиных чудес, – вздыхая, говорила тётка. – А пока не надо тебе о таковых мирских обстоятельствах понятие и суждение иметь.

И тот дядя представлялся воображению князя Александра то каким-то сказочным царём Берендеем, то Кощеем Бессмертным. Во всяком случае, представлялся ему уродливым, злым и страшным. Этому представлению немало помогало и то обстоятельство, что дядя и крёстный отец, в честь которого он носил имя Александра, заявлял старой девице два-три раза, что видеть своего крестника и племянника не желает, так как вообще мальчишек не любит, ибо они всегда без исключения «сухая пакость».

Старуха частенько охала и тужила, что у сироты-питомца нет никакого состояния, кроме двадцати пяти душ крестьян в глухой степной орловской вотчине, где даже и барский дом не существует, давно сгорел. Сама она после своей смерти могла оставить племяннику маленькое полуразорённое имение тоже в Орловской губернии, около полусотни душ. Жить на доходы и оброк можно будет питомцу благоприлично, по-дворянски, но очень не широко. А между тем у родного дяди такое состояние, что деньгам и счёту нет. В одной Калужской губернии до тысячи душ в трёх больших имениях. Да кроме того, богатые вотчины ещё в трёх губерниях.

И беседы Осоргиной с питомцем несколько лет подряд о будущности и судьбе её «Сашунчика» сводились всегда к одному:

– Что бы богачу дяде подарить племяннику хоть полтысячи душ. Что бы ему и совсем сделать крестника своим наследником... Что бы ему вдруг, прости Господи, сразу преставиться и без завещания в пользу какой-нибудь посторонней «ублажательницы». Тогда Александр стал бы богачом, а потом стал бы генерал-аншефом.

Когда юноша собрался в полк, дядя, несмотря на письма и просьбы старой девицы помочь ей «обшить и справить» племянника, не дал ни гроша и даже ответил коротко и грубо. Затем, явившись в отпуск к тётке после производства в капралы и трёхлетнего пребывания в полку, князь Александр узнал от Осоргиной, что дядя Александр Алексеевич в свои шестьдесят лет с хвостиком собрался жениться вторично и, может быть, уже и повенчался с молдашкой лет пятнадцати.

Слух о появлении и существовании молдашки, то есть молдаванки, при особе князя Александра Алексеевича подтвердился за время пребывания князя-капрала у тётки. Но слух о женитьбе, однако, не подтвердился. Дальний родственник обоих князей, приехавший из Калуги, заявил только, что видел молдашку собственными глазами.

– Маленькая, чёрненькая, лохматая и востроносая... – объяснил он. – Визжит, царапается и кусается...

– Ох, Господи! – обомлела старуха. – Да почему же эдак-то?

– Молдашка, сударыня. Вот почему, – объяснил родственник, коротко и ясно.

Князь Александр никогда особенно не мечтал и не надеялся получить в наследство огромное состояние дяди, но всё-таки изредка поневоле подумывал, под влиянием мечтаний Осоргиной: «Почём знать, чего не знаешь!»

Молдашка смутила и старуху, а он, вернувшись из отпуска в полк, тоже перестал окончательно думать о дяде и наследстве. Он теперь уже знал и понял, в чём заключались «чудеса» дяди-вдовца, а равно знал, чего ждать от разных молдашек и им подобных престелниц.

## VIII

На похороны воспитательницы-тётки Сашок, конечно, не поспел, ибо покойница давно уже была похоронена, так как со дня её смерти прошло около двух недель. Но на квартире покойной он нашёл письмо дяди на его имя, в котором тот советовал племяннику привести все дела в порядок, то есть вступить во владение наследством, но и уплатить «по чести» все долги покойницы, а в том числе и пятьсот рублей, давным-давно одолженных ей им, князем Александром Алексеевичем. При этом князь объяснял:

«Лет уже десять с лишком были мною госпоже Осоргиной даны двести пятьдесят карбованцев. Прибылей никаких я не видал с них, ни алтына. А понеже всякий капитал, хотя бы то был и алтын, за десять годов удвоится, то ты и почти своим долгом чести оный долг в пятьсот рублей мне уплатить по введении себя во владение движимым и недвижимым имуществом покойницы, твоей благодетельницы».

Молодой князь подивился немало. Богач дядя просил об уплате пустой для него суммы, на которую, к тому же, не могло быть никакого документа.

«Уж лучше бы было, – думал он, – достойнее и благопристойнее не поминать об этих двухстах пятидесяти рублях, да ещё жидовствовать и требовать вдвое. А тётушка ещё грезилась, что он сделает меня, своего единственного родственника, наследником своих богатств».

Объехав в Москве старых знакомых, Сашок, конечно, не умолчал о требовании дяди.

– Весь он тут – живой! – говорили все.

– Узнаёшь князя Александра Алексеевича!

– И деньги не нужны, конечно. И не желательны даже. Это ради форсу. Он не скряга, а скорее расточитель.

– Чудодействует. Больше ничего.

И затем все хором добавляли:

– Да, родной мой, дядюшка у вас – всю Россию пройти – второго не сыщется. Первого разбора на чудесничество.

Но один из знакомых посоветовал:

– Сказывают, Александр Алексеевич приедет, а может, уж и приехал ради коронавания. Вы его повидайте и попросите этих денег не требовать.

– Ни за что! Бог с ним! – решил Сашок. – Пошлю их ему...

Справив все формальности, чтобы войти во владение маленьким наследством, и повидав кой-каких прежних знакомых, он посетил в том числе самого главного, дальнего родственника или, вернее, свойственника покойной Осоргиной.

Это был человек лет шестидесяти, служащий в Верхнем земском суде, уроженец Москвы, никогда её не покидавший за всю жизнь. Далее Горохового поля, Донского и Симонова монастырей и Воробьёвых гор он от столицы никогда не уезжал. Старика знала вся Москва дворянская и очень уважала. Именовался он особенно, а не просто. Как дед его, боярин ещё времён царя Алексея Михайловича, как отец его, дворянин времён первого императора, так и он сам – все трое звались Романами, а фамилия их была та же, что у царствующего дома.

Роман Романович Романов, столь же суровый на вид, сколько добрый человек, обрадовался появлению «Сашки» Козельского, обласкал его, пригласил навещать почаще, а затем тотчас стал покровительствовать ему.

Вскоре, узнав от молодого князя, что он должен немедленно возвращаться на службу, несмотря на то что скоро весь полк выступит в Москву на коронацию царицы, он решил по-своему.

– Зачем же? – сказал он. – Что же шататься зря? Это мы устроим.

И через недели две Сашок получил разрешение оставаться и ждать полк. Но когда пришло это разрешение, уже другая, вторая просьба Романова за молодого князя тоже была исполнена.

Старик убедил юного офицера оставаться на службе в Москве, в качестве адъютанта, у кого-либо из видных военных... Через недели три после первой беседы с Романовым князь был уже определён состоять при особе военного московского генерал-аншефа князя Трубецкого в качестве домашнего адъютанта для «ординарных» услуг.

Всё совершилось быстро и просто, но только один князь да его дядька Кузьмич удивлялись. Москвичи же не дивились ничему по отношению к Роману Романовичу Романову, ибо все давно знали, что у старика сильная «рука» в Питере, то есть большие связи. При этом удивительно было лишь одно обстоятельство. Старик был одинаково всемогущ и при царице Анне, и при царице Елизавете.

Теперь же, при вступлении на престол новой императрицы, Романов тоже разными мелочами доказал, что он стал ещё сильнее, да к тому же, давно будучи на службе, вдруг стал начальником Верхнего суда.

Всем являвшимся с просьбами ходатайствовать за них он говорил, однако, скромно:

– В чём важном – не взыщите, коли с арбузами останемся. А вот в пустом каком деле я помочь готов и помогу, чем могу.

Однако эти «пустые» дела бывали для иных москвичей очень важными, как, например, определение на службу, испрошение наград, избавление от ябеды, выигрыш тяжбы и т. д.

Кто был в Петербурге «рукой» Романова, он никогда не обмолвился, но предполагали, что при императрице Анне это был кабинет-министр Волынский, а затем позднее и до настоящего дня оба графа Разумовские. Во всяком случае, Романов теперь бывал постоянно у графа Алексея Григорьевича на Покровке, где тот поселился со дня смерти Елизаветы Петровны.

Главный и любимый партнёр именитого фельдмаршала в играх в шашки и в бирюльки был «Романыч».

Когда пришлось устроить племянника «покойной приятельницы, Романов, вероятно, быстро сладил дело из-за покровительства Разумовского.

Устроившись окончательно в Москве, юный Сашок вдруг ощутил нечто, чего до той поры почти не знал. Недоумевая, что с ним приключается, или боясь признаться искренно самому себе, в чём, собственно, дело, он решил, что хворает. Впрочем, Сашок если не знал, то чувствовал причину всего, но молчал. Дядька же его наивно думал, что его питомца просто-напросто вдруг обуяла страшнейшая скука. И случилось это, по его мнению, просто. В Петербурге его князьинька жил в казармах, постоянно видался с товарищами и вместе с ними коротал день на службе, а вечер где-либо в гостях. В Москве же очутился один, на квартире в глухом переулке Арбата и без единого товарища. Были дворянские семьи, которые его звали и обедать, и вечером, но Сашок был скромен до конфузливости, дичился чужих людей, чувствовал себя в обществе связанным и убеждался, что он недостаточно благовоспитан.

– Нет во мне никакой светскости! – вздыхая, жаловался он дядьке.

Между тем причина внезапной тоски юного офицера, похожей на хворь, была особая, хотя тоже простая... На церковном дворе жила и часто по церковному садику гуляла молодая женщина, очень красивая. И такая, каких Сашок ещё никогда не видывал. Так, по крайней мере, он находил, всё больше думая о ней. А хитрый Кузьмич это происшествие проморгал, а поэтому и решил, что всё тоска одиночества наделала.

Впрочем, дядька был доволен, что его питомец не «рыскает» по городу и сидит больше дома. А от этой тоски, вдруг напавшей на «дитё», старик ретиво уже искал лекарство. И то же самое, что бессознательно искал сам Сашок.

## IX

Кузьмич был крепостным молодого князя, но он был его дядькой и потому не считался лакеем. Всякий дядька, как и всякая нянюшка, выхोдившие своих питомцев, пользовались во всякой семье дворянской совершенно особым положением. То обстоятельство, что Сашок был сиротой и не имел никакой родни, за исключением воспитательницы-тётки и дяди, которого он никогда не видел, дало Кузьмичу ещё большее значение. Тётка Сашка любила Кузьмича, считала его очень умным человеком, обращалась с ним как с равным и даже, что было большой редкостью, позволяла Кузьмичу садиться при себе.

Когда Сашок отправился в Петербург на службу, женщина поручила ему племянника, говоря, что рассчитывает на него, как если бы он был отцом Сашка. Наказывая беречь молодого человека как зеницу ока и ограждать от всего худого, она объяснила Кузьмичу, что город Петербург не таков, как город Москва. Там живут всякие безбожники, потому что куча немцев всех россиян там перепортила.

– Никакому добру от немца не научишься! – сказала она. – Береги Сашка, ты за него отвечаешь не только предо мною, грешной, но и пред самим Господом Богом!

Сашку женщина наказала, чтобы он слушался Кузьмича кротчайше и сугубо во всём. Таким образом, будучи в Петербурге сначала нижним чином, а потом офицером, молодой человек хотя и тяготился опекой дядьки, но повиновался ему, боясь ответа перед тёткой.

Теперь, после смерти старухи Осоргиной, поселившись в Москве, Сашок постепенно, почти незаметно для самого себя, стал всё менее обращать внимания на советы Кузьмича. Ещё в Петербурге товарищи смеялись над ним, что он боится своего дядьки. Теперь Сашок сам верил, что пора выйти из-под опеки доброго старика, считающего его ребёнком.

– Я, слава Богу, не маленький! – повторял постоянно Сашок.

Но Кузьмича эти слова сердили, раздражали, а главное, обижали.

– Никто тебе не говорит, что ты махонький! – восклицал он. – Но когда ты глупое затеял, то моя должность – тебе глупость твою пояснить!

И в Москве между дядькой и питомцем стали бывать уже постоянные стычки и препирательства.

Тит, явившийся наниматься, попал именно на одну из таких битв. Однако вскоре же всё стихло, и Кузьмич, выйдя и увидя молодца, тотчас же занялся им, расспрашивая и соображая. Тит понравился старику, понравился и князю и был оставлен в доме в качестве конюха для ухода за верховой лошастью. Через три дня молодец был уже свой человек в доме. Одновременно с его поступлением дядька стал чаще отлучаться со двора, а питомец недоумевал.

Однажды Кузьмич, надев своё новое платье, снова исчез из дому, но, предупреждая своего барчука, что ему нужно отлучиться по важнейшему делу, дядька имел такой торжественный вид, что Сашок подивился более, чем когда-либо.

«Что у него завелось? – думал он. – Баба, что ли, какая на старости лет его околдовала?» Не зная, что делать с тоски, Сашок сел к окну, выходящему на садик при церкви. Он надеялся, что красавица соседка – как всегда это бывало в отсутствие Кузьмича – выйдет погулять и пройдёт под его окном. Однако на этот раз он около получаса просидел, тщетно ожидая появления женщины, «каких, ей-Богу, вот никогда не видывал!»

С досады Сашок вышел во двор и отправился в конюшню. Тит оказался там и усердно чистил лошадь. Князь сел на скамейку, стал глядеть и выговаривал:

– Ты смотри, Тит, сдуру Атласного не опои.

– Как можно, – отозвался молодец.

– Ты это знаешь. Опоённая лошадь пропала.

– Да и человеку негодно воды испить, когда он взопревши, – заметил Тит.

– Это ты умно сказываешь. Это правда.

Тит самодовольно улыбнулся и принялся ещё усерднее за дело. Наступило молчание, но Тит как-то странно взглядывал на барина искоса.

– А уж всё-таки извините, Лександра Микитич, – вдруг заговорил Тит. – А из себя она всё-таки пригожая до страсти...

– Да. Зато и стоила полста рублей...

– Как же так? – удивился Тит, совсем оборачиваясь к князю, и, разводя руками, где были скребница и щётки, прибавил: – Нешто вы ей полста рублей дали уже... Стало, сладилося?

– За неё дал. И то по дружбе господин Романов мне продал. Ему самому она дороже обошлась.

– Да вы про что, Лександра Микитич?

– Как про что?.. Про Атласного.

Тит глупо рассмеялся и стал утирать нос щёткой.

– Чему, дурак, смеёшься?

– Я не про неё, не про лошадь сказывал... Я про Катерину Ивановну.

– Что-о? – изумился Сашок, хорошо знавший, кого так зовут.

– Я про супружницу нашего вот пономаря сказываю, что пригожа и всё привязывается ко мне. Как повстречает, то держит да расспрашивает. Отбою мне нет от неё.

– Тебе?! – ещё пуще изумился Сашок и слегка вспыхнул от чувства, самому непонятного.

– Да-с. Проходу не даёт. Всё одно... Что князь твой? Где князь? Сколько ему годов? Что он за барин? А пуще всего пытается, нет аль есть у вас зазноба какая, а коли нет, то, может, женитьба на уме. Видать, что она в вас втюриилась во как... Да и чего мудрёного. Вы князь да офицер, а её-то муженёк хворый, лядаший, безволосый, а она-то вон какая кралечка. Вы бы уж, ваше сиятельство, её успокоили. Ведь терзается...

– Полно, дурак, околесицу нести! – вдруг вспыхнул молодой малый и, вскочив, быстро ушёл в дом.

Здесь он сел у окна, выходящего на улицу, потом стал прохаживаться по комнатам, потом опять сел к другому окну и глядел на редких прохожих... Раза два за целый час он настораживался, прислушивался и высовывался из окна... До его слуха долетал топот лошадиный... Подчас проезжали мимо его домика кареты, колымаги, иногда офицер верхом, и он с особым чувством озлобления поглядывал на проезжих. Когда же наступала в переулке тишина, – Сашок принимался снова слоняться по своей квартире.

Наконец, выглянув в окно, выходящее на церковный двор, он вдруг увидел чернобровую, белолицую женщину в розовом платье и белом шёлковом платочке на голове.

Сашок вспыхнул ещё сильнее, чем от болтовни Тита. И на этот раз он не выдержал...

Тотчас надев кивер, он вышел и, волнуясь, начал тихо бродить между кустов сада.

Храбрости у молодого человека было настолько мало, что он не только не пошёл прямо навстречу красавице пономарихе, а взял левее, тогда как она гуляла в правой стороне сада. Однако минут через пять красивая брюнетка свернула на другую дорожку и плавно зашагала в его сторону.

Сашок понял, что если он ускорит шаги, то минует её, а если замедлит, то прямо сойдётся, столкнётся...

И он слегка замедлил шаг, подбадривая себя рассуждением:

«Что же? Не я. Она сюда повернула... Я в своём угле гуляю. И что ж за беда... Да и Тит говорит...» И через мгновение молодой человек и красивая пономариха встретились на узенькой дорожке. Сашок счёл нужным немного посторониться.

Молодая женщина смущённо прошла мимо, но так при этом глянула на князя, что его, как он почувствовал, «и ошибло, и ожгло!»

Снова разошлись они в разные углы садика, но, следуя каждый своей дорожкой, должны были неминуемо сойтись снова, на том же месте.

«Заговорить? – спрашивал себя Сашок вслух, но шёпотом. – Тут обиды нет. Мы на одном дворе живём. Соседи... А какие глазки? Вот глазки!» И он шёл, робко косясь, даже издали, на красивую молодую женщину, мелькавшую за зеленью.

И он твёрдо решил заговорить! Непременно!.. Но снова встретились офицер и пономариха и снова разошлись, не проронив ни слова и даже с равнодушным видом.



## Х

Прошла неделя... Сашок по-прежнему ежедневно ездил на краткое дежурство к генералу князю Трубецкому... Дядька снова два раза отпросился со двора и пропал надолго. И Сашок был этому рад, ибо и пономариха появилась оба раза в садике. И он, конечно, вышел гулять... И конечно, они встречались. И конечно, не заговорили. Красавица держала себя ещё более робко и этим наводила страх ещё пуший на «княжну Александру Никитишну».

Однажды, когда Кузьмич ушёл из дому в третий раз, у подъезда квартиры офицера вдруг остановилась тележка, запряжённая одной лошадью. Насколько кляча была заморена, настолько же был неказист на вид и кучер в рваном кафтане и с каким-то шлыком на голове вместо шапки. Вся сбруя была тоже перевязана кой-где верёвочками.

В тележке сидел какой-то господин, далеко не щёгольски, хотя чисто одетый, и спрашивал:

– Здесь ли живёт измайловский офицер, князь Козельский?

Сашок высунулся в окно, ещё полуодетый, в одной сорочке, и крикнул:

– Вам меня нужно?

– Не могу знать, – отозвался приезжий резко.

– Как-с? Вы сейчас вот спрашивали... Стало быть, полагаю, вам меня нужно?

– Не знаю, говорю, сударь, – снова так же резко отозвался приезжий.

– Как не знаете? Вы же спрашиваете?

– Я спрашивал, здесь ли живёт князь Козельский Александр Никитич...

– Ну да.

– Что да?

Сашок удивился вопросу и не знал, что отвечать, а незнакомец продолжал насмешливо и даже дерзко усмехаться, глядя на него.

– Я князь Козельский, – произнёс он наконец.

– Так бы и говорили. А вы говорите: меня ли нужно? А на лбу у вас совсем ничего не прописано, и узнать по этому, вас ли мне нужно, нельзя.

Приезжий вылез из тележки медленно, а затем обратился к кучеру и выговорил сурово:

– Игнат, держи ухо востро. Вожжи понатяни да оглядывайся. Избави Бог, конь испугается чего, шарахнется, бить начнёт... Тогда прощай. И от тележки, и от тебя самого ничего не останется. Хоть ты и первый кучер в столице, а всё-таки с блажными конями опасение всякое нужно...

И незнакомец пошёл на крыльцо.

Сашок глядел, однако, не на него, а на лошадь и отчасти даже рот разинул от удивления.

«Каким образом, – думалось ему, – такая заморённая кляча, которая, расставив ноги, опустив голову и повесив уши, еле держится на ногах, может бить и разбить...»

Офицер быстро надел камзол и сюртук, и когда незнакомец вошёл к нему из прихожей, он уже был готов.

– Честь имею представиться, – заявил неожиданный гость. – Сенатский секретарь чином и ходатай по всяким судейским делам, Вавилон Ассирьевич Покуда. Заметьте сударь. Покуда, а не паскуда.

– Пожалуйста. Прошу садиться, – несколько удивляясь, сказал Сашок.

Гость был уже не только пожилой человек, но старик, хотя бодрый, державшийся прямо, даже несколько важно или гордо. Лицо с морщинами было удивительно белое, свежее, даже с лёгкими пятнышками румянца, зубы, ровные, белые, без единого изъяна, блестели, когда он ухмылялся тонкими губами. Карие глаза были какие-то особенные, маленькие, но вострые,

будто и лукавые, и особо проницательные. Во всяком случае, гость произвёл на Сашка впечатление человека себе на уме, с которым надо быть осторожным на словах.

– Что вам угодно, чем я одолжен вашим посещением? – заговорил Сашок.

– Я слов не люблю. Люблю дело, – ответил гость. – И буду я не красноречив, а краткоречив. Во-первых, прошу вас вспомнить и затвердить, как я прозываюсь.

– Как-с? Ну, это я, виноват...

– Моё имя, отчество и фамилию помните?

– Виноват-с... – несколько смутился Сашок. – Действительно... Мудрёна она малость...

И я забыл уже... Фамилию помню. Покуда!

– Покуда. Верно-с.

– Никогда, признаюсь, таковой не случалось слышать.

– В Малороссии не бывали?

– Как-с?

– Странно это, сударь мой. Всё-то вам повторяй по два раза. Как-с да как-с. Да вот так-с. Бывали вы в Малой России, или Малороссии, или в Хохландии, где хохлы живут?

– Нет, не бывал.

– Ну вот, оттого, вишь, моя фамилия, древняя и дворянская, или казаческая запорожская, вам и кажется странной. Покуда – стариннейший род. А что кажется вам удивительной – верю. У нас в Хохландии есть древний род казаческий, и фамилия его: Убий-Собака. Заметьте: собака, а не собаку. Это – разница. А отчего вам не кажется чудна фамилия Козельский? И Козёл, и Козла... Ну-с, а имя и отчество своё я вам повторяю: Вавилон Ассирьевич. Ничего сие наименование вам не напоминает?

– Как-с?

– Ну вот опять: как-с. Если вы эдак всегда сказываете, то вас могут прозвать: князь Какс Никитич Козельский... Но будет переливать нам из пустого в порожнее, или воду толочь. Сказывайте. Есть у вас дядюшка родной?

– Есть.

– Он же и ваш крёстный отец?

– Да-с.

– И он же очень богатый человек. И он же вас знать не желает. Верно ли?

– Действительно, – начал было Сашок, но гость перебил его и удивил.

– И дабы вы не могли наследовать после него, как требует закон и справедливость, он делает завещание в пользу какой-то девки-полутурчанки. А так как вотчины родовые, да кроме того, турки обоего пола не могут владеть ни родовыми поместьями, ни тем паче крепостными людьми, то дядюшка ваш всё должен продать, денежки наличные скопить и из рук в руки девке-полутурчанке отдать... Известно ли вам это обстоятельство?

– По правде сказать, я этого всегда ожидал, – ответил Сашок.

– И вам на это наплевать?

– Как-с?

– Ну вот опять: как-с! Я вас спрашивал. Вас, князя Какса Никитича... Виноват... Князя Александра Никитича Козельского, неужели вам всё, всё равно? Что нет ничего!.. Плевать! Вы палец о палец ударить не можете, чтобы спасти родовые вотчины от дурашной продажи, не потерять огромное наследство.

– Да что же я могу!

– Всё можете! Всё!

– Извините. Ничего не могу-с. Я дядюшку почти никогда в жизни не видал, то есть видел ещё в ребяческие года и не помню.

– Зачем же вы не едете сами к нему теперь на поклон, по вашей племяннической должности? Чего же вы хотите, чтобы он сам к вам явился с поклоном? А он теперь здесь, в Москве. Ради коронования.

– Я бы поехал, – ответил Сашок, подумав, – но он, я знаю, меня очень нехорошо примет. А то и вовсе не захочет видеть... Обидит. А то прогонит, на глаза не пустивши. А я, в качестве офицера, такового с собой обхождения допустить не могу. Нет уж, Бог с ним!

– Ну, если дело обстоит эдак, сударь князь, – заявил гость, – то, правда, делать нечего... Тогда надо инако вам взяться. И вот я – Ассирий Вавилоныч Покуда, – хочу для...

– Вы сказывались Вавилоном Ассирьевичем, если я не ослышался? – удивился князь.

– Нет. Вы ослышались. А вот теперь слушайте в оба, – весело смеясь, но резко произнося слова, ответил гость. – Я хочу в качестве ходатая по делам тяжёлым, ябедным и иным предложить вам мои услуги. Желаете?

– Право, не знаю. Что же вы сделаете?

– Я-то?.. Да я всё сделаю. Я все законы, какие есть в империи и какие были, всё знаю, как вы знаете аз, буки, веди... Мы начнём судиться с князем Александром Алексеевичем и заставим его вам, как племяннику, уделить хоть половину всех его родовых поместий. Ведь он, Козельский, что холостой, бездетный... Вы последний отпрыск, или единственный потомок той же княжеской линии. Стало, по закону всё должно быть ваше.

– Нет-с. Я думаю и размышляю иначе, – заявил Сашок холодно. – Дядюшка до своей женитьбы имел небольшое состояние, такое же, как и мой родитель... У дедушки моего, их родителя, было всего три вотчины... А если дядюшка теперь богач, то потому, что женился на богатой особе и наследовал после её смерти да затем сам приумножил всё, что ему досталось. Стало быть, все его вотчины и капиталы не родовые, а благоприобретённые. А как таковые, он имеет право отдать или подарить всё, что имеет, кому только вздумается.

– Хотя бы и девке-полутурчанке...

– Хотя бы даже самому султану турецкому, коего он никогда не видал, а не только красавице девице, которая пользуется его расположением вот уже сколько времени и, со своей стороны, вероятно, не раз доказывала ему своё к нему расположение, как близкое лицо.

Гость глядел на молодого князя, разинув рот от искреннего удивления.

– Так вы вон как рассуждаете? – выговорил он наконец.

– Да-с. По совести и по здравому уму... Будь я на его месте – я поступил бы так же...

– Скажите пожалуйста? – уже вне себя от изумления воскликнул гость. – Вы и судиться-то даже не хотите, а я, глупая голова, понадеялся... Я к вам явился, полагая, что вы мне дадите ваше согласие даже и на то, чтобы князя-дяденьку похерить каким-нибудь снадобьем... Так в рюмочку малость самую подболтать, дать хлебнуть и наследовать.

– Что-о? – вскрикнул Сашок. – Да как вы смеете мне эдакое...

– Не кричите...

– Как вы смеете мне, – ещё громче закричал Сашок, – мне, дворянину и офицеру, эдакое говорить. Если вы сами мошенник, вор и убийца, так не смейте других с собой равнять.

У молодого князя, как у многих добрых и кротких людей, гнев проявлялся припадком. Взволнованный и пунцовый, он встал со стула и выкрикнул:

– Пожалуйте! Вон пожалуйста! Вон! Вон!

– Да чего вы, Какс Никитич, расходились? Вам человек добра желает, предлагает богатым стать... А вы на дыбы. Ведь у вас гроша за душой нет. Хорош князь, в онучах. А похеривши, к примеру, каким снадобьем дяденьку, вы сразу богач... Подумайте.

– Ах ты, приказное семя! – заорал Сашок. – Да что мне тебя, зарубить, что ли? Как собаку?! Вон! Пошёл вон! – орал он, наступая на гостя.

– И пойду, пойду. А коли одумаешься, горячка, то пошли за мной, – равнодушно выговорил гость. – Вот тебе и моё прописанное предложение. Авось поймёшь.

И, положив на стол лист бумаги, сложенный вчетверо, гость пошёл из комнаты, усмехаясь. Но не только не злобно, но как-то добродушно, как если бы с ним случилось здесь что-либо приятное.

На крыльце он крикнул зычно:

– Игнат! Подавай рысака.

Возница взял за вожжи и начал передёргивать, но заморённая кляча едва двинулась с места и шагом доплелась к подъезду, как бы через силу таща тележку.

– Не бил? – спросил барин.

– Чего изволите? – спросил и кучер. – Кого-с?

– Оголтелый! И ты тоже начнёшь скоро говорить: как-с. Тебя спрашивают: конь не бил?

Кучер поглядел на барина укоризненно, и Сашок, глядевший в окно, всё видевший и слышавший, заметил, как кучер головой качнул, будто негодуя на барина.

– Что, у тебя язык, идол, отнялся? Конь, говорю, смирно стоял или бил?

– Бил! – азартно произнёс кучер.

– Бил? Ну вот... Мог бы и тебя, и экипаж вдребезги разнести. А ему цены нет.

– Мог бы... Да только сил нет, вишь, в чём только душа держится...

– Дурак! Нешто у коня есть душа? – важно произнёс барин, косясь на князя, сидящего у окна.

И, сев неспешно в тележку, он выговорил:

– Держи вожжи... Поосторожнее... Смерть боюсь лихих и блажных коней.

Кучер начал снова передёргивать вожжами, но так как несчастная кляча не брала с места, то он достал кнут и начал хлестать животное.

– До свидания, ваше сиятельство, – крикнул гость, оборачиваясь к Сашку, который, смеясь, глядел в окно. – Передумаете, то пошлите за мной. А писание-то моё, что на столе, прочтите. Коли не поймёте, то Кузьмичу дайте. Он шустрее вас и поймёт.

Гость отъехал почти шагом, а Сашок, вспомнив о бумаге, взялся за неё.

Гнев, на него напавший от дерзости неведомого нахала-стрекулиста, быстро прошёл, да и «блажной» конь его рассмешил.

Прочитав несколько слов, Сашок ничего не понял, ни единого слова, как если бы написано было по-турецки или по-китайски.

## XI

А гость молодого князя, протащившись на своей кляче до первого угла и завернув за него, тотчас же вылез из тележки. Здесь ожидали его довольно приличные, хотя и не элегантные дрожки, порядочная лошадь и кучер, одетый просто, но чисто.

– Ну, ты, – обратился он к вознице на тележке, – ступай домой! Авось к вечеру доедешь. Послезавтра опять понадобится.

Сев в дрожки, он приказал второму кучеру:

– Ступай к немцу-табачнику, а оттуда поедem в разбойное место.

Лошадь, не очень казистая на вид, взяла, однако, с места крупной рысью, и вскоре дрожки были уже на Тверской и остановились у маленького магазина. Господин, рассердивший Сашка, вошёл в магазин. При его появлении молодой приказчик начал низко кланяться, а затем крикнул в соседнюю комнату:

– Карл Карлович, идите!

В магазин вышел немец небольшого роста, рыжеватый и в синих очках и, крайне любезно, почти подобоострастно кланяясь, заговорил, заискивающе улыбаясь:

– Что прикажете, ваша светлость? Чем обязан такой великой чести?

– А вот чему, немец ты треклятый! Народ обманываешь, торгуешь по русской пословице: «не обманешь – не продашь»... Приехал тебя бить! Какой ты мне табачище прислал прошлый раз?

– Самый лучший, только что полученный с корабля, ваша светлость, с неделю только назад получил из Кронштадта.

– Заладил опять свою «светлость». Тысячу раз говорил я тебе, что я такая же светлость, как и ты сам...

– Это ничего... Это всё одно... – улыбался немец.

– Да кроме того, ты и брешешь, потому что этот табак ни в каком Кронштадте не бывал и ни на каком корабле не плавал. Он тут у нас на живодёрке нашёлся. Небось, какие-нибудь казанские татары вместе с мылом продали его тебе, а ты меня заставляешь эту пакость нюхать. Хочешь на поселение в Сибирь?

Немец, хорошо говоривший по-русски, стал клясться и божиться, что его табак действительно получен из-за границы и что, вероятно, случайно он оказался каким-нибудь другим сортом или же отсырел во время пути морем.

– Позвольте мне прислать вашей светлости послезавтра другую коробку...

– Другого табаку?

– Нет-с, не буду лгать! Табак будет всё тот же, но я его известным образом просушу, и вы увидите, что вкус у него будет совсем другой.

– Ну ладно! А если опять надуешь, то так и знай: я тебя могу под суд упечь и в Сибирь сослать!

– Знаю, что можете, ваша светлость, – отвечал немец, улыбаясь. – Но этого не будет, потому что табак будет отличный.

Когда посетитель вышел из магазина, немец проводил его до самых дрожек, любезно подсадил и кланялся без конца. Вернувшись в магазин и пройдя к себе, немец уже по-своему сказал жене, сидевшей за кофе:

– Слышала разговор, *meine liebchen*<sup>1</sup>?

– Слышала!

---

<sup>1</sup> Моя дорогая (*нем.*).

– Странный человек! Когда подумаешь, что такие люди – и кривляются и шутовствуют! Зачем? А всё-таки доволен, что я его величаю «ваша светлость».

Между тем посетитель немца уже ехал шибкой рысью по Тверской и, переехав площадь, остановился у большого подъезда большого казённого здания. Это был суд, именуемый им «разбойным местом». Поднявшись по каменной лестнице и вступив в длинный коридор, разыскал солдата и выговорил:

– Ивана Флегонтыча можно ли видеть?

– Можно! – ответил солдат, оглядывая посетителя с головы до пят и как бы соображая, какого он звания и стоит ли беспокоить начальство из-за него.

– Так доложи, пожалуйста: Макар Гонялыч Телятев, по делу господина Баташева.

Солдат было двинулся, но затем остановился, снова обернулся к посетителю и, слегка сморщив брови, спросил:

– Как вы рассказываете: Телятин?

– Макар Гонялыч Телятев! – повторил тот.

– Гонялыч... – повторил солдат. – Телятев...

И он пошёл по коридору.

Вернувшись через пять минут, он вымолвил, проходя:

– Обождите! Им не время. Вот посидите!

И он ткнул пальцем в деревянную лавку. Посетитель оглянулся кругом и, увидя свободное место на одной из скамеек между толстым купцом и каким-то старичком в замасленном мундире, подошёл, извинился и сел между обоими. Вавилон Ассирьевич Покуда, преобразившийся теперь в Макара Гонялыча Телятева, скромно уселся на своё место и стал озираться.

Самый разнообразный народ сидел вдоль стен, и у всех был одинаково невесёлый вид. Можно было догадаться, что все здесь находящиеся приходят сюда поневоле и считают себя несчастными. Это были люди, так или иначе причастные к тем делам, которые производились в этом казённом месте.

Господин, меняющий свои имена, был прав, конечно, называя это место «разбойным». Просидев с четверть часа, оглядев всех, изучив все фигуры, он заметил в углу сидящую около офицера бедно одетую женщину лет пятидесяти, с чрезвычайно милым лицом. Он сейчас же решил, что женщина – дворянка, несмотря на поношенное платье. Оглядев снова всех ожидавших очереди, и снова глянув на эту женщину, он заметил, что она поспешно утирает глаза.

– Вон как! – выговорил он вслух.

– Вы чего-с? – отозвался толстый купец, думая, что он обращается к нему.

– Я-с? Ничего-с!

– Вы сейчас что-то сказали?

– Точно так-с. Только не вам...

– Простите-с!

– Простил-с!

Последнее слово было сказано так, что купец покосился на соседа, кашлянул и отвернулся, считая себя несколько обиженным. Назвавшийся же Телятевым тотчас встал, перешёл комнату и, приблизившись к даме и её соседу, офицеру, произнёс насколько мог вежливее:

– Извините, пожалуйста, мне там сидеть очень мудрёно. У купца такие сапоги, что я угорел от них. Дозвольте сесть между вами?

Дама и офицер раздвинулись. Он опустился на скамью и тотчас же заговорил со своей соседкой.

– По делу, конечно, какому здесь, сударыня, находитесь?

– Да-с! – ответила женщина охотно.

– Вот и я так-то! Беда! Разбойное место! – тихонько прибавил он.

И, расспрашивая подробно, через несколько минут он знал уже все горести этой женщины. Она подробно и охотно передала своё дело, из-за которого уже второй год является сюда и сидит часами. У неё оказалась тяжба с соседом, и вскоре, по её грустному убеждению, ей предстояло проиграть правое дело. Сосед, у которого сильное покровительство в Москве, должен неминуемо оттягать у неё пятьдесят душ крестьян, подгородных, зажиточных, платящих большой оброк, как если бы их было двести душ.

Выслушав всё, назвавшийся Телятевым предложил женщине свои услуги.

– Не подумайте, – сказал он, – что я хочу нажиться, что вы во мне найдёте кляузника-ходатая, который только вытащит у вас последние гроши и ничего не сделает. Вперёд вас предупреждаю, что я уплаты никакой с вас не прошу и буду ходатайствовать даром.

Попросив адрес барыни, он узнал, что её зовут Елизавета Ивановна Калинина и что она урождённая княжна Тихменева. Вспомнив время лет за двадцать пять назад, он заявил Калининой, что у них найдутся и общие родственники. Он обещался через день или два побывать у женщины и усердно взяться за её дело.

– Прямо-таки обещаю вам, что мы вашу тяжбу выиграем! – сказал он весело. – Не примите меня за болтуна, я на ветер ничего не говорю.

Женщина стала горячо благодарить, но в эту минуту подошёл солдат и, оглядывая всей сидящих со середины комнаты, выкрикнул:

– Который тут Телятин?

– Я! – отозвался тот.

– Вас зовут! Вот прямо по коридору и вторая дверь на правую руку. Да вы, кажись, уже бывали у нас, – прибавил он, приглядываясь.

Телятев двинулся и через минуту сидел уже на маленьком стульчике, бочком, скромно съёжившись и подобрав ноги под себя. Перед ним на кресле величественно восседал чиновник, один из многих заседателей суда, очень важная птица для всех просителей, но, конечно, далеко не важная по должности, им занимаемой.

Телятев заявил, что является просителем по делу секунд-майора Баташева, и начал было объяснять, в чём заключается дело. Иван Флегонтьич, по фамилии Скрябин, остановил его, сухо выговорив:

– Я лучше вас знаю это дело. Не вам мне его разьяснять! Что вам угодно?

– Узнать, когда можно ожидать его окончания?

– Окончание будет, когда дело кончится.

– Так-с! – скромно отозвался Телятев. – Но нельзя ли узнать, когда именно?

– Нельзя!

– Но можно ли надеяться, что дело окончится в пользу майора?

– Надеяться можно. Это законом не воспрещается! – отозвался Скрябин. – Но позвольте узнать, по какому праву вы являетесь вместо самого майора мне докучать вопросами?

– Он хворает, ваше высокородие! Он – мой большой приятель, и я вызвался ходатайствовать за него. Дело это правое, и поэтому...

– Правое оно или неправое – это судить нам, а не ему и не вам. А я так полагаю, что дело совершенно неправое. Ваш майор просто ябедник.

– Помилуйте! – отозвался Телятев печально.

– Нельзя мне вас и миловать! Говорю – ябедник! И дело, конечно, проиграет. Таких людей полезно даже поучить!

– Ну а позвольте узнать, ваше высокородие, нет ли возможности какой направить оное дело к благополучному разрешению? Я человек со средствами и сирота. Хотелось бы мне очень одолжить единственного приятеля. Я ему вчера предлагал в третий раз, а сегодня вам доложу. Я готов пять тысяч рублей с удовольствием пожертвовать на это дело, чтобы его разьяснить.

Скрябин пристально поглядел в лицо посетителя ястребиными глазами и как-то мигнул, а потом прибавил:

– Вон как! Что же... разъяснить всё можно. Ведь и мы не святые угодники. И мы можем ошибаться. Конечно, обсудив дело зрело, можно... Как бы выразиться?... Можно найти законные статьи, кои гласят противоположительно другим...

И он замолчал, как бы не зная, что ещё сказать.

– Дозвольте, ваше высокородие, – заискивающе заговорил Телятев, – мне, маленькому человеку, обратиться к вам с всенижайшей просьбой. Направьте меня и посоветуйте какого-нибудь ходатая взять, чтобы вручить ему сии пять тысяч, дабы он занялся старательно и толково делом друга моего майора.

– Можно. Хорошо, – протянул Скрябин и быстро прибавил: – А как, скажите, вы прозываетесь? Мне солдат чудно вас как-то назвал: Макар Гонялыч...

– Эка дурень он. Макар Гонялыч, да ещё Телятев. Гаврилыч я. А то будто выходит пословица: куда Макар телят не гонял!

– Правда. Правда, – рассмеялся Скрябин и, подумав, заявил: – Что же? Можно! Это можно. Насчёт то есть стряпчего. У нас есть такие ходатаи. Ануфриев, к примеру.

– Так соизвольте, ваше высокородие, как бы так сказать, препоручить ему оное дело и передать ему уплату вперёд. А сии самые деньги я вот с собой взял.

И Телятев достал из кармана довольно объёмистую пачку ассигнаций, перевязанных тесёмочкой, и положил на стол.

– Нет, это что же? – отозвался Скрябин, жадно косясь на деньги. – Ведь это и после можно. Зачем же вперёд?

– Нет, уж будьте благодетелем, сделайте такое одолжение. Господом прошу. Вступитесь за правое дело. Вызовите сего ходатая и от себя вручите ему.

И, поднявшись со стула, Телятев вышел из комнаты, пятясь ради вежливости и низко кланяясь.

– Ах, разбойник! Душегуб! – ворчал он без конца, сидя уже в дрожках, и, наконец, крикнул кучеру: – Нет, на сегодня будет с меня. Обозлили! Пошёл домой.

Через минут десять он был на Лубянке и въезжал во двор большого барского дома. Швейцар, завидя дрожки, выбежал на подъезд. Ливрея его, вся в позументах, и золотая булава ярко сверкнули на солнце.

– Был кто? – спросил он, вылезая из дрожек.

– Были-с. Граф Разумовский.

– Фельдмаршал?

– Никак нет-с. Граф гетман. И приказали доложить, завтра, мол, буду хуже татарина к обеденному столу...

– Что-о?! Хуже татарина? К столу?

– Три раза изволили повторить. И приказали мне: точно-де доложи ты эдак, не переври, мол...

– Понял! Понял... Ну, скажи дворецкому сейчас послать гонца верхового к гетману и передать: «Завтра, мол, не могу принять, обедаю сам у канцлера Михаила Ларивоныча, у Воронцова, а послезавтра прошу пожаловать и, стало быть, уже не татарин.» Не переврёшь?

– Никак нет-с, – бойко и весело ответил швейцар. – Я тоже надумал, теперича, какой такой татарин...

По лицу, говору и ухваткам крепостного холопа ясно видно было, что барина любит и не боится.



## XII

Если Кузьмич исчезал из дому и хлопотал, то виновником было всё-таки его дитё ненаглядное. Посторонний человек, обсудив отношения старика дядьки и юного офицера, однако, взял бы сторону последнего.

Сашок не мог ступить ни шагу, чтобы Кузьмич не явился со своим советом или порицанием.

Каждый вечер, оглядывая кошелёк питомца, Кузьмич расспрашивал, куда Сашок истратил деньги. Когда молодой человек приезжал откуда-нибудь с обеда или вечера, Кузьмич настоятельно и будто с тайной целью допрашивал его, кого он видел, с кем познакомился, о чём говорил.

Но главное, чем досаждал и изводил старик питомца, была одна и та же, почти ежедневно десять раз повторяемая фраза.

– Уберегайся женского пола!

Кузьмич действительно боялся как огня, что какая-нибудь лихая баба вскружит голову его дитю и погубит.

И разумеется, старик только и думал об одном: как бы поскорей женить Сашка. Когда была жива старуха Осоргина, он считал, что это не его дело. Теперь же, когда Сашок остался сиротой на его попечении, он считал своим святым долгом не только подумать об этом серьёзно, но и приступить поскорей к делу.

Кузьмичу казалось, что теперь-то именно, когда они поселились в Москве, и можно всего лучше женить питомца. Невест в дворянских семьях Москвы было много. Старик решил, что нужно, не откладывая дела в долгий ящик, тотчас приняться разыскивать невесту. Не искать богатой приданницы или дочери важного вельможи, а найти добропорядочную девицу, хотя бы и с маленьким приданым, но, главное, добрую и благонравную.

Разумеется, одновременно Кузьмич постоянно повторял питомцу:

– Пора тебе бракосочетаться! Жениться. Пора.

И так как эти слова повторялись постоянно, то они уже начали тоже сердить Сашка, и он начал отвечать, что никакой охоты жениться у него нет.

– Ну, ладно! – отвечал Кузьмич, махая рукой. – Это моё дело. Найду невесту, так придёт у тебя охота.

Несколько времени тому назад, увидя однажды своего питомца на церковном дворе гуляющим одновременно с пономарихой, очень красивой женщиной, Кузьмич ахнул, даже смутился, как если бы узнал и увидел что-либо чрезвычайное. На его немедленный совет – не зариться на всякую «ракалию» в юбке – Сашок отвечал резко. Произошло опять сражение, и жаркое.

Молодой человек сильно рассердился, как бывало с ним редко, и прямо заявил, что пономариха вовсе не ракалия, а красавица и скромница редкая, какая всякому может и должна нравиться.

И он был прав. Грубое определение Кузьмича совсем не шло к молодой пономарихе, жившей на церковном дворе. Она была столь же красива, сколь скромна и робка. Молодой офицер и князь, недавно поселившийся около них, ей страшно нравился. Муж её, уже очень пожилой, был не ревнив – потому что был совсем «лядащий». А между тем, она чем более думала о князе, тем более робела...

Последствием объяснения офицера и дядьки было, однако, только то, что дядька начал ещё более думать о женитьбе питомца.

Дело тут, конечно, не в пономарихе, рассудил он, но просто: пора ему, пора!

И Кузьмич вскоре окончательно убедился, что в Москве ему гораздо легче, чем в Петербурге, женить своего забуйившего молодца, который стал брыкаться.

«Здесь, в Москве, самое место бракосочетанья, настоящее, потому что питерцы обасурманились и всё творят на заморский лад, – рассуждал старик, повторяя слова покойной Осоргиной. – А в Москве без нашего брата ни одному браку не быть. Без нас, слуг господских, не обойдётся».

И старый дядька был прав. Ни одного сватовства, ни единой свадьбы не было в Москве, чтобы крепостные холопы господ дворян не вмешались в дело, устраивая или расстраивая планы своих господ. Разумеется, подобное случалось в тех семьях дворянских, которые жили на дедов и прадедов лад, а не по-новому и которые, приискивая жениха или невесту, искали не денег и сановитости, а озабочивались только будущим счастьем своих детей.

Прежде чем решить первостатейный вопрос всей будущей жизни сына или дочери, всякие родители тайком наводили справки, производили целый «сыск», чтобы верно узнать, что за человек намернувшийся жених, что за девица намеченная невеста.

Лучше и ближе всех да отчасти беспристрастно могли знать и сказать холопы.

У добрых, справедливых и человеколюбивых господ дети женились и выходили замуж скорее и легче.

– Наш барчонок золотой. Поведения, что тебе монах. К родителям почтительный, к холопам ласковый, – говорила дворянка.

– Наш барчук – злыдень... Всех нас поедом ест. Отца с матерью в грош не ставит. Юбочник, каких не сыщешь. Ни горничным, ни санным проходу от него нет.

– Наша барышня – ангел. Прямо святая девица. Рукодельница. Ничего худого на теле нету, и вся-то раскрасавица. Здоровищем – пышка медовая.

– Наша барышня сушая ведьма. Девочек булавками в кровь истыкала. На боку у неё во пятнице, чёрное, в том роде, как мышь с хвостом. А здоровье? Заживо тронулось и разваливается.

И вот эти заявления крепостных рабов и всевозможные сведения, собранные с заднего крыльца, решали судьбу молодых господ.

Много девиц-дворянок оставалось в старых девках только потому, что гневно и прихотливо расправлялись собственноручно со своими горничными.

Разумеется, среди этих рабов проявлялись иногда и мстители, злыдни и клеветники. Господа это знали. Но тем не менее обычай крепко держался. Без взаимного, якобы тайного, опроса холопов никто не хотел обойтись.

Заведя много знакомых и пошатавшись, Кузьмич многое подробно сообразил и на все лады взвесил.

– Уж если я моего князюшку в Москве не женю, то где же тогда! – решил он.

Без малого с месяца назад старик, без цели болтаясь по улицам своего квартала ради новых знакомых, пока его питомец был на службе у генерала Трубецкого, случайно зашёл в церковь к вечерне.

В церкви было мало народу. В числе прочих Кузьмич увидел молодую девицу и пожилую женщину. Конечно, старик тотчас определил и не ошибся, что это нянюшка со своей питомицей, дворянской девицей. Обе сразу чрезвычайно понравились Кузьмичу.

Женщина молилась без перерыва и всё клала земные поклоны. Девушка, очень юная и миловидная, держала себя очень скромно, тоже крестилась не переставая, но казалась тоскливой.

Но не столько ещё понравилась Кузьмичу эта девица, сколько её богомольная добродушная нянька. При выходе из храма старик заговорил с женщиной и, перемолвившись, узнал, что барышня по имени Татьяна, а по фамилии Квоцинская, а родители её живут поблизости в своём доме. А нянюку зовут Марфой Фоминишной. Бывают же они у всех служб в своём приходе. И не далее как через три дня Кузьмич хитро затащил к обедне в эту церковь своего

питомца и указал ему на молодую девушку, будто и сам видя её в первый раз. Молодые люди за всю обедню украдкой переглядывались, но затем, по выходе из храма, Сашок на вопрос дядьки ответил:

– Она-то? Да что же? Ничего. Мало ль эдаких.

## XIII

В приходе Спаса-на-Песках в переулке стояли в глубине двора просторный одноэтажный дом с мезонином, а правее от него небольшой флигель. Свежевыкрашенный в тёмно-серый цвет дом и флигель блестели на солнце, сильный запах краски достигал даже до улицы. Впрочем, не было улицы или переулка, где не было бы того же. Вся Москва чистилась, мылась, красилась и украшалась на все лады ко дню торжества въезда новой государыни.

В доме этом родовом, уже перевидавшем в своих стенах три поколения, жила семья дворян Квоцинских, состоящая из двух пожилых лиц – отца и матери, двух юных, их сына и дочери, и, наконец, брата хозяина, пожилого холостяка. Пётр Максимыч Квоцинский, отставной поручик, уже давным-давно жил безвыездно в Москве, если не считать поездки и отлучки в маленькое подмосковное имение около Звенигорода, где собирался он быть предводителем дворянства. Всё состояние Квоцинских заключалось в этом доме и в этом имении душ с сотню.

Квоцинские были исконные москвичи, дворяне средней руки по положению общественному и по состоянию. Отличительная черта семьи заключалась в том, что кто с ними знакомился и видел их в первый раз в жизни, старался вспомнить, не знал ли он их прежде или не напоминают ли они чересчур какую-либо семью, уже знакомую давно.

Происходило это потому, что Квоцинские были такой семьёй, каких было в Москве до полусотни. Всё, что было в них самих, что было у них и крутом них, было будто не своё, а заимствованное, скопированное с других.

Как дома их были окрашены в серую краску, так же точно всё было того же цвета... И они сами, и всё, что они делали и говорили, и всё, что их окружало...

Но семья, конечно, никому не подражала. Она жила так, как следует жить дворянам, рассуждала, действовала, веровала, радовалась и горевала на свой лад и вместе с тем на тот же самый лад, как и все остальные дворянские семьи Москвы. А все, не только сами отцы семейств, все их чада и домочадцы походили на таковых же соседних. Даже их нянюшки и мамушки, их кормилицы, сенные и горничные девушки, их дворецкие, дядьки, кучера и фореиторы тоже походили на фореиторов, дворецких, мамушек соседней дворянской семьи. Все обедали или ложились спать в одно и то же время, у всех были одинаковые ливрейные лакеи, громоздкие рыдваны и сытые цуги смирных коней; все ели после обеда те же сласти или печенье и смоквы и затем ложились не спать, а отдыхать, но засыпали; всё так же прислушивались к пересудам, сплетням, так же постились, так же молились перед киотами и божницами, так же боялись дурного глаза, так же болели на масленице от мясопуста и блинов, а на Святой от разговения после семинедельного воздержания; всё так же хвастались дядюшкой, тётушкой, двоюродным братцем, которые в Питере важные птицы; всё так же женились, рожали и, народив, женили и выдавали замуж. Жизнь шла одинаково изо дня в день, мирно, тихо и благодушно, пока не случался в столице большущий пожар, не умер князь Иван Иванович, который «вчера ведь ещё жив был», пока не грянул слух, что опять война с немцем или с турком, а Петя, Вася, Миша должны идти воевать и быть подстреленными.

Вместе с тем нравственный облик семьи Квоцинских, которая являлась отражением всех дворян-москвичей, внушал неотразимо, непреодолимо уважение и любовь.

Сам Пётр Максимович был человек ограниченный, едва грамотный, но честнейший и добрейший. Его честность, то есть чистота понятий и убеждений, его доброта, то есть сердечность и справедливость по отношению к крепостным (во дни существования Салтычихи) делали его украшением своей среды.

Анна Ивановна, боготворившая мужа через тридцать лет супружества так же пылко, как и в первый год, была, конечно, невольно его отголоском во всём и подражательницей.

Сын Паша, добрый, тихий, ласковый, был любим всеми, а дочь Таня даже обожаема. Врагов у семьи не было и не могло быть. Пётр Максимович за всю свою жизнь никого не обидел, а если прямо высказывал худым людям правду-матку, то умел это делать так мягко, сердечно, будто соболезнуя этому их худу, что и эти люди не озлоблялись, не становились его тайными врагами. Жена и дети подражали отцу в правиле: «Добрых людей уважай и им подражать старайся, худых людей не озлобляй и сторонись от них!»

Это было заповедью Петра Максимовича. Но, помимо всего этого, Квощинский иногда удивлял друзей и знакомых некоторыми своими мнениями, которых у других дворян не было, и иногда совсем необыкновенными, не худыми, а странными.

Так, он высказывал мнение, что люди все, без различия состояния, созданы по образу и подобию Божию. Что барин, что холоп – равно все человеки. А потому человек человеку принадлежит, как бы какое движимое имущество, как диван или карета, не должен. Это не Божеский закон, а измышленный. А потому и не вечный. «Не убий» – Божеский закон. «Повинуйся родителям и установленным властям» – тоже Божеский и вечный закон. Было так всегда и будет так всегда. А вот продавать и покупать живых людей и считать их своей собственностью, как бы коров или лошадей... Это всегда было... Ну, а впредь не будет! Крепостные люди, хамы и холопы или рабы в грядущих временах исчезнут. Люди людям принадлежать не должны и потому принадлежать не будут. Когда? Бог весть! Может, и через тысячу лет.

И многие друзья-дворяне на такие речи Квощинского только головами качали.

## XIV

Исчезавший загадочно из дому старик дядька молодого князя бывал именно в доме Квоцинских у друга, Марфы Фоминишны. Причина его посещений была в семье не тайной. Няня и дядька «стакнулись» в сугубо важном деле. В тот самый день, когда Сашок принял и выгнал от себя Вавилона Ассирьевича Покуду, дядька снова отпросился в гости к другу.

Восемнадцатилетняя Таня, простодушно весёлая, но скучающая, была у окошка и первая увидела Кузьмича, идущего через двор. Девушка вскочила и бросилась бегом по всем комнатам и коридору. Влетев к нянюшке, она закричала, поднимая руки над головой... Если бы не её сияющее лицо, то старуха обомлела бы от страха и поверила в пожар.

– Фоминишна, родимая!

– Ну?! – всё-таки оторопела няня.

– Кузьмич... Сама видела... Идёт...

– Ах, отчаянная. Даже напугала.

– Кузьмич! Кузьмич!

– Слышу... слышу... Так уходи, егоза... Вишь ведь... Наш пострел везде поспел. Уходи скорее.

– Он ещё во дворе... Только вот что, няня. Ты не притворяй дверь совсем. Я одним глазком погляжу и послушаю...

– Что ты! Что ты! С ума сошла, – испугалась Фоминишна. – Вот выдумает. И думать не могли этак безобразничать. Заметит он – что подумает?

– Няня... милая... Одним...

– Ни за какие ковриги.

– Одним глазком...

– Уходи! – сказала Фоминишна сердитым шёпотом. – Слышишь, Дашутка бежит с докладом. Увидит тебя да твоё розовое личико – догадается... Иди, отчаянная...

И, выпроводив питомицу, старуха вышла в коридор. Девчонка лет четырнадцати уже подбежала к её дверям и тихо вымолвила:

– Марфа Фоминишна, к вам Иван Кузьмич княжеский. Спрашивает, можно ль...

– Зови, зови. Очень рада, скажи, – усилила голос няня, завидя гостя в конце коридора и зная, что он услышит.

Между тем Таня уже влетела к матери в спальню и вскрикнула:

– Матушка! Кузьмич к ней пришёл...

– Ну так что же? Нешто можно так скакать девице из-за пустяков, – строго выговорила Анна Ивановна. – Ступай к себе, стрекоза.

И едва дочь вышла и поднялась по лестнице к себе в мезонин, Квоцинская, прислушавшись, тотчас же вышла и быстро направилась на половину мужа.

– Пётр Максимович, – выговорила она, слегка задохнувшись от ходьбы...

– Что?! – несколько опешил Квоцинский, заметив в лице жены что-то особенное...

– Кузьмич у Фоминишны, – шёпотом и многозначительно выговорила женщина.

«Кузьмич у Фоминишны», сношения их няни с дядькой князя имели, конечно, огромное значение в семье за последнее время.

Квоцинский бывал часто задумчив и озабочен: «Выйдет ли что? Или ничего не выйдет?»

Анна Ивановна, объявив важную новость, села в кресло. Наступило молчание, так как Пётр Максимович насупился и ничего не ответил, только бросил на стол книгу, которую читал.

Затем он встал и начал ходить по кабинету.

– Дай Бог, – вымолвил он наконец тихо. – Да. Всё во власти Божией... Всякий наш шаг...

– Иногда и обстоятельства непредвиденные и случайные, – робко вставила Анна Ивановна.

– Вздор. Полно, матушка... Обстоятельства?! А кто их позволяет? Случай? А кто случай посылает? Провидение! А что такое Провидение?.. Кто?

И снова наступило молчание.

– Да. Дай Бог. Молодой князь прямо изрядный человек. Его все, кого ни спроси, хвалят. Добрый, скромный, поведения истинно дворянского, благоприличного, ни карт, ни вина, ни подолов бабьих не знает. Живёт, прямо сказать, как девица-невеста. Да. Этакое бы супруга нашей Танюше... Я бы просто... Да что говорить... Прямо обещание даю. В Киев пешком пойду. Да и немудрёно дать, правда, такое обещание, потому что брат Павел со мной пойдёт.

– А я? И я пойду.

– Ну, вот... Вместе все трое.

– Только одно вот обидно. У него немного достоянья... – вздохнула Квощинская.

– А богач да козырник, – строго спросил муж, – хорошо? Ныне прокозырял пять тысяч, завтра десять... Или бабий махальник... Что ни увидел юбку – и махнул за ней.

И супруги снова замолчали.

– Вот кабы дяденька его был другой человек!.. Ино дело! Дал бы племяннику из своих доходов хоть четверть... – заговорила, снова вздыхая, Анна Ивановна.

– Если бы не мороз, овёс до неба дорос. Спасибо и за то, что навёртывается жених – прекрасный человек...

– Да... Вдруг будет Татьяна Петровна княгиня Козельская, урождённая Квощинская, – тихо проговорила Анна Ивановна, улыбаясь.

– Это пустое... Для счастья не нужно...

– Ну, всё ж таки...

– Пустое. Титулы и деньги – пустяковое дело. Чистая душа – вот основание для счастья. Да авось... Авось. Я мало видел этого Кузьмича, а верю, что он человек рассудительный и зря болтать и действовать не станет. А от него много зависит. И мы с тобой не сами поженились. Кабы не вмешалась старуха Агафья, твоей матушки ключница, – ничего бы, пожалуй, не было.

– Ещё бы не Агафья. Я хорошо помню, а вы забыли. Вам прочили княжну Яновскую... А Агаша наша всё перевернула. И лицо-то изнанкой вышло.

Между тем нянюшка, приняв дорогого гостя, княжего дядьку, приказала подать самовар.

Кузьмич, поздоровавшись, тотчас справился о здоровье господ, потом понюхал табак у из тавлинки<sup>2</sup> и выговорил:

– Ну, а ты сама, сударыня моя, Марфа Фоминишна... Сама как?

– Прихварываю... Да что Бога гневить... Мне и не надо здоровья... Мне и помирать пора, – заявила нянюшка, – Вот только бы увидели мои глаза мою Танюшу при благополучии и счастии брачном... Тогда мне и жить больше не надо.

– Как можно?.. У выхоленного дитя свои детки пойдут, за коими приглядеть тоже пожелается.

– Оно конечно. Что говорить. Захочется.

– То-то. То-то... Я тоже вот скажу. Женится на ком мой князенька. Я тоже махоньких князьков пожелаю на руках подержать...

Наступило молчание.

– Да, – вздохнул вдруг Кузьмич, – надо мне ему постараться найти жёнушку в Москве... Вот хоть бы, говорю, вроде бы твоей барышни. Прямо говорю...

---

<sup>2</sup> Тавлинка – плоская табакерка из бересты.

– И я сказываю то же, Иван Кузьмич... – ответила Марфа Фоминишна. – Коли твой, говоришь, князь – доброта самая, то уж наша-то Татьяна Петровна – сущий херувим. Этакой доброты не бывало да и не будет. Опроси всю Москву...

– Знаю, знаю... Опрашивал, золотая моя. Все хвалят до небес.

– И из себя красавица и крепыш девица... Одно вот. Не богачка. Но всё ж таки после кончины родителей вот эфтог дом ейный будет. А дома в Москве всё дорожают.

– Ну, это что! – отмахнулся Кузьмич. – Деньги – дело наживное. У князя своё достояние есть. А помри, прости Господи, его чудодей-дяденька без какого срамного завещания, то всё ему пойдёт. А у князя-то Александра Алексеича страшнее состояние... Да. Так вот оно что!.. Вот и давай-ка, Марфа Фоминишна, мыслями раскидывать...

– Я всею моею душой, Иван Кузьмич... – воскликнула няня. – Я и господам моим однажды уже закидывала про всё это, будто ненароком. Ну и они, конечно, про князя одно хорошее слыхали, тоже расположение в себе к нему чувствуют. Только опять, понятное дело, наказали мне строго-настрого никому об этом не разбалтывать да и девочку нашу разговором, ей непригодным, не смущать. Пока что она не должна, по девичеству своему, ничего знать о наших с тобой размышлениях.

– Ещё бы? Зачем. Не её это дело.

Более часа просидел дядька у няни, и друзья без перерыва говорили, но нового больше ничего не сказали.

Всякий раз повторялось то же теми же словами.

Нянюшка ни словом ни разу не обмолвилась Кузьмичу о волнениях господ и о своих беседах про жениха с питомицей. Старик же уверял, что его князине шибко приглянулась девица...



## XV

Кузьмич явился домой с необычно сияющим лицом, радостно-важный, почти торжественный и собирался на этот раз уж прямо заговорить о своём посещении Квошинских. Но Сашок не дал ему рта разинуть и заявил о госте, который только что уехал, наговорив невероятных вещей.

Объяснив всё, что произошло, Сашок прибавил:

– Умалишённый или мошенник. Как посудишь ты?

Дядька был озадачен новостью не менее своего питомца, так как не понимал смысла и цели такого посещения, да ещё человека со странным именем.

– Как? Как вы сказываете? – спросил старик.

– Вавилон Ассирьевич Покуда...

– Паскуда! Не вернее ли?

– Вот и я то же сказал. Даже хотел и обозвать его эдак, – рассердившись, воскликнул Сашок.

– Чудно. Очень чудно. Понять невозможно, – заявил Кузьмич, поразмыслив. – Ну, прийти с предложением ябедничать – ещё куда ни шло... Для них, приказных, судейское крючкотворство, что корм для скотины. Тоже жить хотят. А вот идти с советом смертоубийствовать, опаивать... И вдобавок идти эдак-то к кому ещё? К вам, князю и офицеру... Это уж совсем удивительно...

– Вот и я так-то рассуждаю, Кузьмич. Просто неслыханное дело. Я офицер гвардии...

– Обида! Обида! Ох, обида!

– Что?

– Обида, что меня не было, – воскликнул старик, сжимая кулаки. – Я б его принял... Я бы его во как отрезвонил. Он бы у меня кубарем выкатился из дому. А вы нюни распустили. Эх-ты, Лексаша мой, Лексаша. Всё будешь век свой младенчиком.

– Нет, Кузьмич, я его шибко изругал и выгнал.

– Никогда. Хвастаешь.

– Ей-Богу, Кузьмич. Ей-Богу. Так и крикнул на него. Подите вон...

– Побить надо было... В оба кулака принять. Отзвонить так, чтобы оглох на всю жизнь, чтобы...

Но Сашок не дал дядьке договорить и воскликнул:

– Стой, и забыл. Вот его бумага... Я читал, но не понял ни бельмеса. Всего четыре строки.

– Письмо? Кому же?

– Он оставил мне и тебе. Он сказал: если там вы не поймёте, Кузьмичу прочтите. Он умный и поймёт. Стало быть, он тебя знает. Ну вот, слушай. Я как есть ничего не понял, а ты, может, и поймёшь что. Слушай.

И Сашок начал читать с расстановкой:

– Любрабезканный пледамянбраник. Прибраезкажай кода мнебра набра покаклон. Твойда робрадной дябрадяка. Ну вот и всё, – прибавил Сашок.

– Тьфу! – азартно плюнул Кузьмич. – Чистый дьявол, прости Господи. – Заставив Сашка ещё три раза перечитать написанное, он задумался.

– Баловство! – решил, наконец, старик. – Мало ли какой народ шатается по свету. Есть и умалишённые. А то просто лясники.

– Как то есть? – не понял Сашок.

– Такие люди. Шатаются, мотаются зря и лясы точат. Совсем стало понятно.

– Да что такое?

– Лясы-то? Да так, стало быть, сказывается. Лясы-балясы. А они-то сами лясники-балясники. Мотаются по свету и врут что попало, чего и на уме нет. Язык-то у них сам по себе вертится. Дай ему прочесть это, он и сам не поймёт ни одного слова.

Сашок, глядя в лицо Кузьмича и ожидая удовлетворительного объяснения, не согласился с мнением старика дядьки. Он приписывал этой чепухе какой-то смысл, и ему показалось, что Кузьмич кривит душой. Старик ничего не понял, так же, как и он сам, Сашок, но не желает в этом сознаться и сам тоже что-то неясное выдумывает вместо дельного объяснения.

– Ну да плевать нам на дурака, – заявил Кузьмич. – Ведь больше не посмеет явиться. Плевать. Вы вот послушайте, что я выкладываю буду. Моё-то всё любопытнее и поважнее.

– А что же?

– Где я был сейчас? Догадайся вот. Ахнешь, родимый. Был я у господ Квоцинских. Вот что!

Сашок был удивлён, но ловко скрыл это.

– Ну... – несколько равнодушно и, конечно, умышленно равнодушно отозвался он.

– Что «ну»? – как бы обидчиво вымолвил Кузьмич.

– Сказывай. С какой радости? Зачем был?

– Сказывай? Коли тебе, князь, ваше сиятельство, нелюбопытно, так не стоит мне и слова тратить...

И Кузьмич двинулся, как бы собираясь уходить из комнаты.

– Да ну, ну... Полно. Сейчас, старый ты хрыч, и обиделся. Что же мне, на крышу бежать, влезать да с неё во двор прыгать... Ну, был у Квоцинских. Ну, видел их. Ну и рассказывай, зачем туда носило тебя.

– Коли вам всё это нелюбопытно...

– Заладил ведь... Ну говори, слушаю... – мягче и ласковее произнёс молодой человек. – Коли есть что любопытное, тем лучше.

– Вестимо, есть! И даже совсем диковина. Вы вот здесь у окошечка сидите день-деньской да зеваете с тоски... А Квоцинская барышня ума решилась. По вас тоскует и убивается. Похудела, побелела... Хоть помирать.

– Да что же это такое? – изумился молодой человек.

– Как что же? Шибко полюбились вы ей. Позарез! Вот и всё.

– Удивительно это, Кузьмич.

– Почему же?

– Как почему? Сам посуди. Виделись мы единожды в церкви, а потом повстречал я её раз под Новинском на гулянье. Да и не знаю ещё верно, она ли то была. И не знакомы. И никогда не разговаривали. Она в церкви меня и не заметила, по-моему. Я только на неё малость поглядывал. И вот вдруг она да тоскует по мне. Впрямь диковина!

– Ах ты, ваше сиятельство... – замотал головой Кузьмич и, достав тавлинку, отчаянно нюхнул два раза. – Прямо сказать – простота.

– Да как же тосковать по том, кого не знаешь! – воскликнул Сашок.

– Ты не знаешь, а она, стало быть, хорошо знает. Много ли нужно для девицы, чтобы офицер, да ещё князь, да ещё такой, как ты у меня, сразу девичье сердечко защемил. Ну вот, барышня видела вас два раза и память потеряла... Без памяти от тебя. Вот тебе и весь сказ!

– Диковинно, – протянул Сашок тихо, как бы сам себе.

– Ничего диковинного нету. Ну а по-вашему как? Дурновата она, худорожа, сухопара?

– Нет... Как можно...

– Красавица, прямо сказать, видная.

– Да. Пожалуй... Красавица не красавица, а только видная...

– Белая, румяная. Глаза звёздами. А уж нравом прямо ангел-херувим. Нянюшка Марфа Фоминишна говорит, что таких девиц, как её Танюша, не бывало на свете и не будет.

– Да ведь это, Кузьмич, все мамки про своих так сказывают, – заметил Сашок.

– Так. По-твоему, лжёт она, стало быть?

– Нет. Я не то...

– Так я, стало, лгу и морочу тебя?

– Да нет... Зачем. Я только говорю, что все мамки про своих...

– Ну, что же вам со лгунами и обманщиками якшаться... – рассердился вдруг дядька. – Идите ищите людей праведных, а нас, криводушных, оставьте досыта врать да на ветер брехать.

– Ах ты, Господи... Вот царевна-недотрога! – воскликнул Сашок. – Слова ему не скажи. Могу же я рассуждать о делах.

– Я для вас стараюсь, – воскликнул старик, – из любви моей и преданности. Недаром я тебя выходил. Недаром и на руках носил. Недаром глаза на тебя проглядел. Могу я, стало быть, знать, где твоё счастье и в чём тебе в жизни благополучие... Я, вишь, стар да глуп. Всё путаю, а то и вру... Снесла курочка яичко, а оно ей и сказывает; «Не так ты, курица глупая, яйца несёшь».

И Кузьмич быстро вышел из комнаты.

## XVI

На другой день Сашок собрался на дежурство. Поступив адъютантом к генерал-аншефу князю Трубецкому, он сначала бывал на службе ежедневно с девяти утра и до трёх часов, когда в доме князя подавали кушать, но вскоре начальник, которому адъютант был совершенно ни на что не нужен, позволил молодому человеку являться только три раза в неделю, да и то не ранее полудня, так как князь Егор Иванович, играя в карты за полночь, вставал поздно.

Занятия или дела служебного у Сашка не было, собственно, никакого. Он, являясь, садился на стул в большом зале и сидел сложа руки... Изредка, когда приезжал к Трубецкому кто-либо не по знакомству, а по делам службы, Сашок докладывал посетителя и провожал через гостиные в кабинет князя.

Но вместе с тем у адъютанта бывало иногда много дела совершенно иного. Он исполнял поручения княгини Серафимы Григорьевны, и самые разнообразные. Иногда эти поручения были таковы, что Сашок хмурился и негодовал. Ему казалось, что для дворянина-офицера они были неподходящи, роняли его достоинство. К тому же и Кузьмич, вечно противоречащий ему, был в данном случае согласен с ним, что княгиня не соблюдает благоприличия, будто забывает, что адъютант – не слуга, не скороход и не «побегушка». А между тем офицер и князь Козельский, будучи адъютантом князя, был положительно скороходом у княгини. Он разъезжал по всей Москве. И по знакомым княгини, и в Гостиный двор, и в магазины, развозя и привозя всякую всячину. Ездить верхом по столице в мундире с картонками или узелками казалось Сашку совсем унижительным... А делать было нечего. Противоречить княгине Серафиме Григорьевне прямо было опасно. Ослушаться её – значило немедленно потерять место, которое позволяло ему жить в Москве.

Молодой человек утешался тем, что сам князь Трубецкой боялся жены как огня и тоже, случалось, в полной форме, на коне заезжал по её приказу в Охотный ряд или на Козье болото и, правя лошадью левой рукой, в правой вёз домой кулёчек, где дрыгал живой судак или лещ.

Иногда княгиня давала мужу совсем диковинные поручения. Когда она отправлялась куда-либо в гости, то бывала одета лучше и богаче всех. Поэтому если её приятельницы почти все шили платья дома, имея своих крепостных портних, то княгиня давала шить своим швеям только простое платье. Выездные туалеты, не только «панье» или «роброны», или шарфы и мантильи, но и всякая мелочь выездного костюма покупались и шились на Кузнецком мосту, где не было ни единого русского купца и не было лавок. Были только магазины, а держали их почти только одни французы, за исключением двух-трёх голландцев, торговавших бельём и золотыми вещами. Москвичи уже часто шутили, что надо называть центр модников не Кузнецким, а «Французским» мостом.

Княгиня, не любя выезжать из дому, проводя день в капоте, в хождение по дому, посылала адъютанта, и мужа.

Однажды, пользуясь тем, что князь был одного с ней роста, княгиня послала его к портнихе примерить новую юбку, чтобы не «обузила дурофья-француженка».

И князь Егор Иванович съездил, примерил и донёс супруге, что приказал убавить юбку на вершок.

– Только, дорогая моя... – заявил он. – Стыда набрался. Эти вертушки парижские просмеяли меня.

Теперь, когда вся Москва была переполнена именитыми людьми, явился двор и все важнейшие сановники империи с семьями, Сашок ещё более боялся вдруг осрамиться из-за княгини.

– Она ведь, того гляди, пошлёт меня во всём параде на Москву-реку с бочкой! – говорил он Кузьмичу.

На этот раз, когда Сашок явился в дом князя, он нашёл княгиню, мягко шагающую в зале, в капоте, простоволосую и в одних чулках.

Едва только завидя адъютанта мужа, княгиня выговорила тихо, а тем не менее грозно:

– Пожалуй! Пожалуй-ка сюда, воробей.

Сашок подошёл и поклонился почтительно.

– Где князь Егор Иванович?

– Не могу знать-с.

– Так я тебе, воробью, скажу. Князь в Петровском. Поехал представиться царице... А ты с ним?

Сашок молчал, не понимая.

– Твоя какая должность, воробей? А? Состоять при князе. А ты что? Голубей гоняешь у себя на дому.

– У меня, княгиня, нет голубей!

– Нет? Ну так ворон считаешь. Э-эх, моя бы воля. Я бы тебя по этому месту поучила.

И княгиня оглядела офицера, как бы ища на нём «это место».

– Поди. Сядь. Приедет вот князь, промоет тебя с песком.

Сашок отошёл в угол зала, но из вежливости не сел.

Княгиня Серафима Григорьевна снова начала ходить взад и вперёд по большому залу, угрюмая, заложив руки за спину и шагая мерно, твёрдой поступью, в которой сказывалось что-то особенное, внушавшее кому почтение, а кому боязнь.

Этот шаг, короткий, мерный и крепкий, будто говорил всякому, что тот, кто эдак двигает ногами, знает, что делает, чего хочет, знает, где раки зимуют, учиться ни у кого не пойдёт, ума-разума занимать не станет, сам всякого поучит, да ещё так поучит, что не скоро забудешь.

Руки, заложенные за спину по-мужски, придавали всей фигуре маленькой и плотной женщины вид ещё более решительный... Чёрные, с сильной сединой волосы, зачёсанные, зализанные, с маленьким пучком на затылке, туго свёрнутым, выглядели так, будто женщина острижена под гребёнку.

Большие светлые серые глаза глядели сурово, не сморгнув... Когда княгиня смотрела не только на живых людей, но хотя бы на голую стену, то в глазах этих читалось:

– Ты что! Смотри! Я тебе!

И даже стена, наверное, тоже чувствовала себя неловко.

Княгиня была теперь особенно сурова, потому что волновалась. Князь Егор Иванович уже часа два как уехал в полной парадной форме, во всех своих регалиях и, конечно, в великолепном новом рыдване в три пары коней, цугом. Уехал он в Петровское. Да не просто! Представиться государыне!..

Княгине Серафиме Григорьевне уже десять лет хотелось, чтобы муж, давно сановник крупный, получил должность по чину, а не сидел бы в Москве насадкой без почёта...

«А это по всему следует! Уж если не князья Трубецкие будут первыми людьми в России, то кто же тогда?... Новые графы, что ли? И какие? Да. Какие?! Иисусе, Сыне Божий! Графы Разумовские, Бестужевы, Шуваловы... А теперь будут и Орловы!.. Завтра пойдут графы Сидоровы, графы или князья Федюхины, или там ещё какие... Уж тогда просто бы дать указ всем дворянам величаться князьями и графами... Орловы – и вдруг графы?... Орловы? Графы? Как-то вместе не вяжется. Чудно, смехотворно сказать: граф Орлов. Положительно, им самим стыдно будет, когда их начнут так величать».

И о многом подобном мысленно рассуждала княгиня, шагая по залу и мягко ступая ногами без башмаков.

В последнем княгиня подражала многим барыням, которые, как и она, страдали мозолями и предпочитали быть в чулках, так как совсем на босу ногу дворянке быть не подобало.

Прошло с полчаса... Сашок стоял всё в углу зала, а княгиня продолжала маршировать мерными шагами, глядя в пол.

В отворённое окно вдруг донеслось нараспев:

– Груши-яблоки хоррроши! Яблочки крымские! Груши рязанские!

Княгиня остановилась и выговорила:

– Кликни! Ты! Тютант...

Адъютант перевесился за окно и крикнул:

– Гей! Ты! Гей, яблоки!

Но разносчик, снова громогласно запевший своё, не расслышал и быстро удалился.

– Не слышит, – заявил Сашок.

– Так пошёл, догони, ротозей! – воскликнула княгиня. – А ещё тютант! Ах, ты...

Сашок сбегал по парадной лестнице и послал швейцара догнать и вернуть разносчика.

Затем он доложил о нём княгине.

– Вели Анфисе два десятка груш купить... Принеси сюда.

Когда Сашок, исполнив поручение, явился снова с грушами на подносе, княгиня взяла одну, закусил, выплюнула на пол и выговорила:

– Ах, мошенники! Ах, идола!

Однако, начав снова маршировать по залу, она доела грушу и взяла другую, потом третью.

– Ты, воробей! Сбегай узнай: какое время.

Это поручение адъютант исполнял почти каждый раз, как являлся на службу. Часов в доме князя Трубецкого не было, так как он считал, что часы приносят несчастье. Княгиня в этом мужу не перечила, находя, что все приметы российские – самые мудрые.

Обыкновенно Сашок доходил до угла улицы, в дом сенатора Евреинова, и справлялся.

На этот раз, вернувшись, он заявил, что у сенатора столовые часы перестали ходить со вчерашнего дня.

– Ах, идола! – проворчала княгиня и прибавила: – По солнцу?..

– По солнцу, Серафима Григорьевна, опасаясь ошибиться, – ответил Сашок. – Я на это не мастер. Кажись, что второй час.

– А на какое ты дело мастер? А? – спросила княгиня.

– Не могу знать.

– На баклуши. Понял? Нет, не понял?

– Никак нет-с.

– Баклуши бить мастер ты! И уши развешивать тоже. Нюни пускать – тоже тебя взять.

## XVII

Наконец у подъезда дома загромыхала и остановилась карета.

Сашок, высунувшись в окно, узнал экипаж своего начальника и тотчас побежал вниз.

Князь уже вышел из кареты и вошёл в переднюю.

Сашок стал извиняться, говоря, что князь ничего ему не сказал накануне и он не мог знать, что должен сопутствовать ему в Петровское.

– Княгиня моя тебе это пояснила? – спросил князь.

– Точно так-с.

– Ну, пора привыкать. Коли я тебе ничего не сказал, стало быть, и не хотел тебя брать.

Князь Трубецкой был очень маленький и худенький старик, с крючковатым носом, с ястребиными, но вблизи добрыми, крупными, постоянно улыбающимися глазами. Не знавшие его близко считали его человеком сухим, даже злым; но знавшие близко знали, что он добрейшей души человек, которому природа по ошибке дала злые глаза. Все знали тоже, что если случилось князю сделать что-либо неприятное, то это было по приказанию его супруги, которой он послушаться не мог, ибо боялся до смерти. Да и боялся-то он жены из-за доброты своей. Он не любил и избегал в людях гнева и старался всячески себя оградить и никого не сердить, а тем паче жену...

Княгиня встретила мужа наверху парадной лестницы, стоя в той же своей всегдашней позе, с закинутой головой, где торчал пучок волос на самой маковке, и с руками, скрещёнными за спиной.

– Ну? Что? – выговорила она.

– Ничего.

– Приняла?

– Да.

– Расспрашивала?

– Нет...

– Как нет?

Князь вошёл на верхнюю ступень и на площадку и потянулся к жене поцеловаться, что он делал всегда, возвращаясь домой, хотя бы после совсем краткого отсутствия.

– погоди лизаться... – уткнулась княгиня рукой в его грудь. – Говори. О себе не говорил, стало быть?..

– Нет.

– Преотменно!!

– Нельзя было. Приняла меня государыня с тремя другими. Тут же был и Бецкой, который, к слову сказать, опять пошутил: «Ты – Трубецкой, а я – только без «тру» Бецкой; а всё-таки есть Трубецкие, которые бы пожелали быть на месте без «тру» Бецкого...» А знаешь, матушка, новость?! Он всем коронованием будет управлять, потому что...

– Да ты о себе говори!.. О себе!.. Что мне твои Бецкие и всякие иные, некровные, сбоку прижитые... Он...

И княгиня выразилась очень резким словом.

– А вот пойдём к тебе, всё расскажу, – ответил князь добродушно. Затем, обернувшись к своему адъютанту, князь прибавил: – Сбегай, голубчик... Ничего нету! Попроси хоть на два понюха.

Князь показал пустую табакерку.

– Слушаю-с! – воскликнул Сашок и пустился вниз по лестнице.

Он сразу понял, в чём заключалось поручение, потому что князь по крайней мере раза два в неделю посылал его к своей свояченице Настасье Григорьевне Маловой за нюхательным табаком.

Сестра княгини, красавица вдовушка, нюхала табак, и не столько из-за необходимости и привычки, сколько из-за модничанья и того, что все нюхали... Но дело в том, что Малова умела готовить из разных смесей такой табак, какого в продаже не было и от которого все нюхатели приходили в восторг. Уверяли даже, что сам фельдмаршал Разумовский говорил:

– Маловский табак? Ну табак! В жар и холод бросает. Нюхнёшь – и душа с Богом забеседует.

Сашок добежал за два дома от подъезда, приказал доложить Маловой, зачем он явился, и тотчас был принят. Он вошёл в гостиную и почтительно заявил, что князь только что вернулся из Петровского от государыни, а табаку ни порошинки в табакерке.

Молодой человек всегда старался быть особенно почтительным с Маловой, так как родная сестра княгини могла повлиять на жену его начальника и замолвить за него словечко.

С хозяйкой сидели два господина. Один пожилой, другой молодой красивый хват в артиллерийском мундире.

Настасья Григорьевна, как всегда бывало, странно поглядела на Сашку, как будто чему-то смеялись её глаза, и подала ему голландскую тавлинку с табаком.

– Всегда-то вы за табаком, – сказала она сладко. – Возьмёте и уйдёте. А нет чтобы меня навестить и посидеть.

Сашок не нашёлся, что ответить, глупо улыбнулся и, поклонясь, вышел.

«Чудно она на меня всегда глядит, – подумал он. – А надо сказать правду. Красива. Даже не хуже моей Катерины Ивановны. Та пономариха всё-таки. А это сестра родная княгине».



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.